Новое в жизни, науке, технике





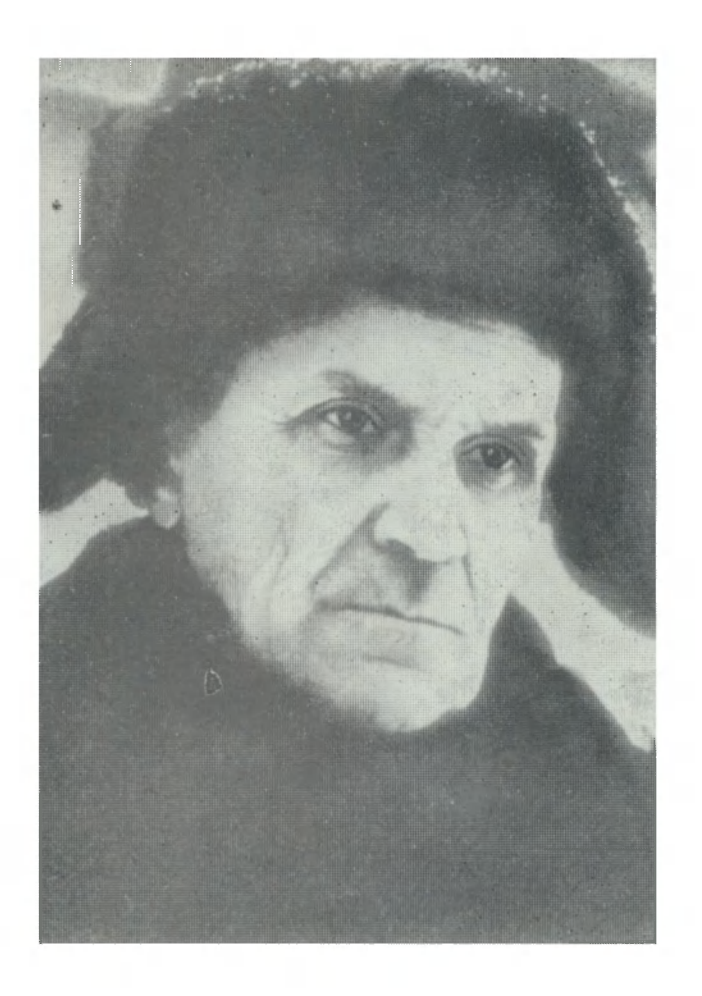
Подписная научно-популярная серия

9'91

Литература

Е. А. Шкловский

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ



НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ

ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

ЛИТЕРАТУРА

9/1991

Издается ежемесячно с 1967 г.

Е.А. Шкловский



ВАРЛАМ ШАЛАМОВ



МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» 1991

ББК 83.3(2)7
Ш66

ШКЛОВСКИЙ Е.А. — кандидат филологических наук, критик, автор книг и статей о советской литературе.

Редактор *Н.М.КРАСНОПОЛЬСКАЯ*

Шкловский Е.А.
Ш66 Варлам Шаламов. — М.: Знание, 1991. — 64 с.— (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Литература»; № 9).
ISBN 5-07-002084-6
30 к.

В брошюре рассказывается о драматической судьбе и творчестве Варлама Шаламова (1907—1982 гг.), одного из крупнейших русских писателей XX века, значение которого по-настоящему начинает осознаваться только сегодня. Дается анализ наиболее значимых его произведений.

4603010000 ББК 83.3(2)7

ISBN 5-07-002084-6

Писать о Варламе Шаламове трудно.

Трудно прежде всего потому, что его трагическая судьба, которая в значительной степени отразилась в знаменитых «Колымских рассказах» и многих стихах, как бы взыскует соразмерного опыта. Опыта, которого не пожелаешь и врагу.

Почти двадцать лет тюрьмы, лагерей, ссылки, одиночество и забытость в последние годы жизни, жалкий дом для престарелых и в конце концов, как венец всех мытарств — смерть в психушке, куда писатель был насильно перевезен из этого дома, чтобы вскоре умереть от воспаления легких.

Сказать об этом — наверное, ничего не сказать. Сухая, пусть даже и впечатляющая цифра не передаст муки искромсанной человеческой жизни, констатация пусть даже и вопиющих фактов, увы, не способна выразить всей непосильной меры человеческого страдания.

Кажется, его судьба затем и послана была ему, чтобы, вместив в себя самые страшные испытания, которые нес человеку в нашем многострадальном отечестве тоталитарный режим, стать вместе с тем и непреложным приговором этому режиму. Этой кровавой власти.

В том и суть, что трагедия Варлама Шаламова отнюдь не была уникальной. Через лагеря в нашей стране прошли миллионы безвинных, многие там и сгинули, расстрелянные, замученные, погибшие от истощения и непосильного рабского труда. Остались лежать в безымянных могилах.

Но в лице В. Шаламова, в его даре большого писателя общенародная трагедия получила своего бескомпромиссного свидетеля, мученика-летописца, собственной душой и кровью заплатившего за страшное знание. В нем она обрела чистый и мощный голос.

Нередко говорят: судьба поэта.

Как в итожащих печальный опыт российской истории строках М. Волошина: «Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот».

Если действительно видеть в том, что мы часто бездумно, подобно заговору, называем судьбой, роком, некую неминуемую, трагическую предопределенность, закономерность, приговор, участь, начертанные неведомой высшей волей, то в жизни автора «Колымских рассказов» линия неизбежности обозначается куда явственней, чем у кого бы то ни было.

В рассказе «Перчатка», написанном в начале 70-х годов, у В.Шаламова есть потрясающее признание: «Я — доходяга, кадровый инвалид прибольничной судьбы, спасенный, даже вырванный врачами из лап смерти. Но я не вижу блага в моем бессмертии ни для себя, ни для государства. Понятия наши изменили масштабы, перешли границы добра и зла. Спасение, может быть, благо, а может быть, и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас».

Эти пронзительные по наитию и глубине мысли строки, наверно, нужно было бы вынести в эпиграф, но вполне реальна опасность, что эпиграфы тоже стали неким анахронизмом, красивой необязательностью, малоубедительной подсказкой. Хотя именно в этом высказывании, похожем на вырвавшийся из души крик боли, — квинтэссенция самых важных раздумий писателя о жизни и ее смысле.

Вдумаемся: в самом начале 70-х, внешне вроде бы вполне благополучных лет, В.Шаламов решает вопрос: благом ли было его спасение?

Иными словами: благо ли его жизнь?

Он словно взвешивает на весах — жизнь и смерть. И не дает ответа.

Сегодня можно только гадать, что происходило тогда в его душе. Ведь самое страшное — Колыма — было давно позади, далеко в прошлом. Или он ведал, предчувствовал, что и это, последнее десятилетие его жизни будет отнюдь не из легких? Понимал, куда все клонится? И не были ли эти горчайшие строки его молением о чаше?

Ясно одно: В.Шаламов испил свою чашу до дна.

Конец его жизни — в психушке, в присутствии подосланной органами госбезопасности «наседки» — ярчайшей вспышкой, вслед за «Колымскими рассказами», еще раз высветил и наши «понятия», и границы добра и зла.

И все-таки, произнося как заклинание слово «судьба», мы невольно рискуем встать на путь оправдания того зла, которое уродует человеческую жизнь. Жизнь — на каждом отрезке пути —

всегда множество вариантов, и когда из них реализуется только один, часто, увы, далеко не лучший, наша склонность к фатализму (или к конформизму?) заставляет признать его единственно возможным.

Но не совершаем ли мы тем самым нечто кощунственное по отношению к конкретной личности, к ее индивидуальной трагедии? Мы как бы приговариваем человека вторично, и если прислушаться, то можно услышать при этом звук защелкивающихся наручников или глухой удар гильотины.

Заметим, однако, что В.Шаламов ставит вопрос не только применительно к себе лично: было ли благом только его личное спасение, только его конкретная жизнь? Его вопрос более всеобъемлющ: благо ли жизнь вообще?

И вывод писателя, сделанный на основании собственного опыта, на основании «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», неутешителен.

«Главный итог жизни: жизнь — это не благо. Кожа моя обновилась вся — душа не обновилась...»

Или еще: «У меня изменилось представление о жизни как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому».

Конечно, можно счесть это умозаключение субъективным, можно привести примеры иного взгляда, даже среди тех, кто прошел через столь же жестокие тернии. И тем не менее к шаламовскому приговору следует отнестись со всей серьезностью, попытаться проникнуть в его внутреннюю логику, осмыслить не как отвлеченное суждение, а именно как итог, в контексте его судьбы и, что очень важно, творчества.

Правда В.Шаламова — не последняя истина, но — вопрос, обращенный ко всем нам, ко всему человеческому сообществу. Вопрос, заставляющий еще и еще раз задуматься о наших понятиях, пересмотреть их в свете шаламовского опыта — от начала и до конца.

ИСТОКИ

О своих детстве и юности В.Шаламов рассказал в воспоминаниях «Четвертая Вологда», написанных в конце 60-х годов. В них много непосредственных детских впечатлений, восстановленных замечательной памятью писателя с почти предметной осязаемостью, но в них содержатся и размышления прожившего долгую

трудную жизнь человека, пытающегося заново осмыслить свои корни, свои духовные и нравственные истоки.

Родился Варлам Шаламов 18 июня (1 июля) 1907 года в Вологде, древнем русском городе, равно удаленном и равно близком от обеих тогдашних столиц — Москвы и Петербурга, как бы между ними, что, безусловно, накладывало печать на его быт, на его общественную и культурную жизнь. Город церковной старины, город, глубинно связанный с традициями российской северной патриархальности, город, не одно столетие служивший местом ссылки, Вологда как бы соединяла в себе самые разные, иногда несовместимые по духу, внутренне чуждые, но очень характерные тенденции, выражавшиеся здесь ярче, чем где бы то ни было еще.

Существенно и замечание В.Шаламова, что «требования к личной жизни, к личному поведению были в Вологде выше, чем в любом другом русском городе».

В.Шаламов, с детства обладая очень живой и сильной восприимчивостью, не мог не чувствовать этих различных потоков в духовной атмосфере города, тем более что семья Шаламовых фактически находилась в самом центре общественной жизни.

Отец Шаламова — Тихон Николаевич, соборный священник, был в городе видной фигурой, поскольку не только служил в церкви, но и занимался активной общественной деятельностью. По свидетельству писателя, отец его, почти одиннадцать лет проведший на Алеутских островах в качестве православного миссионера, был человеком европейски образованным, позитивистского склада мышления, придерживающимся достаточно свободных и независимых взглядов, что, естественно, вызывало к нему отнюдь не только симпатию.

В.Шаламов вспоминает, что дома отец молился перед иконой, представлявшей собой репродукцию картины Рубенса — с огромным ликом Христа в терновом венце, освятив эту простую олеографическую картинку, наклеенную на фанерку и заключенную в золоченую узкую раму, по всем каноническим правилам.

Отношения будущего писателя с отцом складывались отнюдь не простые. Младший сын в большой многодетной семье, он часто не находил с отцом, волевым, страстным, категоричным в своих пристрастиях и мнениях человеком, общего языка. Весьма вероятно, что здесь сказывалась и ревность: симпатии родителя почти всегда были отданы другому сыну — Сергею, признанному кумиру вологодских мальчишек, азартному до отчаянности в каждом своем ув-

лечении, лучшему в городе охотнику, рыбаку и пловцу. Как ни странно, но Сергей был ближе ему, нежели книгочей Варлам, испытывавший страсть к книгам, а не к охоте и рыбной ловле. Определенную роль играло здесь то, что В.Шаламов называет язычеством в отцовском мировосприятии.

«Отец мой был родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами несколько поколений, из шаманского рода, незаметно и естественно сменившего бубен на кадило, весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души...» — так писал В.Шаламов о Тихоне Николаевиче, хотя архивы свидетельствуют о его славянском происхождении.

В этом отношении мать, полностью прикованная к хозяйству, к кухне, но любившая поэзию, наделенная непоказной душевной тонкостью, была ближе В.Шаламову, впоследствии горько сокрушавшемуся о ее тяжкой женской доле. Ей посвящено стихотворение, начинающееся так: «Моя мать была дикарка, фантазерка и кухарка».

Однако как бы ни были сложны отношения В.Шаламова с отцом, влияние того на сына тоже нельзя недооценивать, как, впрочем, и унаследованную страстность характера. Тихон Николаевич был тверд в убеждениях и бескомпромиссен в нравственных вопросах, кодекс чести, судя по воспоминаниям писателя, был для него едва ли не важнее, нежели узкоконфессиональные вопросы. Да и религиозность, видимо, понималась им более широко, чем это предписывалось каноном.

Именно это и нашло скорей всего отклик в душе сына.

Хотя сам В.Шаламов и выдвигал впоследствии в качестве одиннадцатой заповеди к традиционным библейским десяти — «не учи!» ("Не учи жить другого. У каждого — своя правда"), его собственные убеждения, по свидетельству близко знавшей писателя И.Сиротинской, «всегда были окрашены страстью в яркие, контрастные тона. Полутона — не его стихия. И он не просто говорил, думал вслух — он учил, проповедовал, пророчествовал. Был в нем Аввакумов дух непримиримости, нетерпимости».

Вероятно, этот же дух, как, впрочем, и юношеская романтика, влек В.Шаламова к революционной стезе. В «Вишере» писатель неоднократно подчеркивает, что героями его детских и юношеских лет были все русские революционеры, а в «Четвертой Вологде»

вспоминает, с какой страстью зачитывался повестями эсера-террориста Бориса Савинкова (Ропшина) «Конь бледный» и «То, чего не было». Последнюю он помнил почти всю наизусть, мог цитировать целыми страницами.

Именно эти два сочинения, по признанию В.Шаламова, помогли сформироваться его главному жизненному принципу — соответствию слова и дела, слова и деяния.

Не изменит писатель своего отношения к революционерам «народовольческой» закваски и в конце жизни.

«Наследники Перовской и Желябова — люди эсеровской партии — по своим человеческим качествам были неизмеримо выше всего, что могла выдумать богатая на подвиги царская действительность в ее глубине, в ее недрах».

Не случайно и то, что одному из близких ему по духу героев «Колымских рассказов» писатель дает фамилию — Андреев. Такую фамилию носил пользовавшийся большим уважением В.Шаламова бывший эсер, политкаторжанин в прошлом Александр Георгиевич Андреев, с которым писатель познакомился в 1937 году в Бутырской тюрьме.

Столь явное и горячее пристрастие В.Шаламова к людям, посвятившим себя революционной деятельности, может показаться несколько странным. Не потому, однако, что они не заслуживали уважения, отдавая свои жизни борьбе за правду-справедливость, вступая в бой «святой и правый», но потому что средства борьбы, к которым они прибегали, терроризм, не могли не нанести нравственный урон самой идее. Жертвуя своими и, главное, чужими жизнями, они фактически вели страну к трагическому для нее и для народа, освободить который они стремились, социальному эксперименту.

Вряд ли В.Шаламов, уже прошедший Колыму, мог не отдавать себе отчета в этом, не понимать трагической взаимосвязанности революционного насилия со все той же Колымой. С глубокой горечью вспоминает он в «Четвертой Вологде», чем обернулась революция для их семьи, для его отца, оправдывавшего ее как порыв к справедливости, как историческое событие, призванное обновить общество.

«Отцу мстили все — и за все, — пишет он. — За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома. Впрочем, из дома нас выкинули, выбросили с минимумом вещей. В нашу квартиру вселили городского прокурора».

Как видим, В.Шаламов не закрывал глаза на темные стихии, разбуженные революцией в народных массах, которым она дала выход. Ясно различал писатель и застарелую неприязнь, даже ненависть масс к интеллигенции.

Однако он как бы выносит все это за скобки, оставаясь, в сущности, верным своему детскому и юношескому увлечению революционерами. Увлечению, жившему в писателе словно поверх идеологии, поверх политики, а еще вернее — вне их.

В чем же тут дело?

ЖАЖДА СОВЕРШЕННОЙ ПРАВДЫ

Чтобы ответить на этот существенный для понимания мировосприятия Шаламова вопрос, стоит пристальнее вглядеться в его отношение к такой классической для нашего общественного сознания теме, как «народ и интеллигенция».

Писатель касается ее и в воспоминаниях, и в письмах, и в рассказах. Чувствуется, что она волновала его на протяжении всей жизни, причем позиция его здесь резко определенна, можно даже сказать, заострена против какого бы то ни было народопоклонства. В чем он непоколебимо убежден, так это в невиновности интеллигенции перед народом.

В «Четвертой Вологде» он пишет с нескрываемым раздражением, как бы отметая заранее все возможные возражения: «И пусть мне не «поют» о народе. Не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата.

Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией".

Старая больная проблема: кто перед кем виноват и кто перед кем в долгу?

Чтобы хотя бы частично представить историю вопроса, вспомним, что в 1907 году вышел в свет знаменитый сборник «Вехи», авторами которого были крупнейшие философы и публицисты начала века — Н.Бердяев, С.Булгаков, М.Гершензон, С.Франк, П.Струве и другие. Главный счет они предъявляют именно интеллигенции с ее социальным недовольством, с ее пафосом справедливости, предполагавшим вторжение в естественный порядок и ход

вещей, с ее максимализмом и революционаризмом, чреватыми нетерпимостью, фанатизмом и ведущими в конечном счете, по прозорливому замечанию С.Булгакова, к самоотравлению.

Кроме того, осмысливая опыт революции 1905 года, «веховцы» пришли к выводу о прямой связи героического максимализма интеллигенции с разгулом стихии народного бунта, «бессмысленного и беспощадного», если воспользоваться известным определением Пушкина. Ведь именно они, подвижники-революционеры, вдохновляемые высокими целями, звали Русь к топору. Максимализм цели, по мысли того же С.Булгакова, связан с максимализмом средств, с максимализмом действий.

В.Шаламов был знаком с «Вехами», но резко не принимал «антиинтеллигентского» настроя их авторов.

Можно предположить, за столь категорическим неприятием стояло, помимо прочего, вынесенное из лагерей ожесточение писателя, вызванное той часто откровенно зоологической ненавистью к интеллигенции, которую В.Шаламов испытал на самом себе, а не только наблюдал со стороны.

В рассказе «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме» Шаламов пишет о своем знакомом по Бутырской тюрьме, потомственном хлеборобе и технике-строителе по образованию, с которым позже он встретился на Колыме. Ничего дурного он этому Леше Чеканову не сделал, даже постарался помочь как староста камеры, посвятив в тонкости тюремного бытия. Вот почему в душе его затеплилась робкая надежда, что его бывший «одноделец», став десятником в той же бригаде, сможет хоть как-то облегчить ему участь.

Вместо этого он сталкивается с непримиримой, мстительной злобой, слышит яростные слова: «А то, видишь, знакомый! По воле! Друг! Это вы, суки, нас погубили. Все восемь лет я тут страдал из-за этих гадов — грамотеев!»

Ненависть Леши Чеканова — не только и не столько, может быть, даже лично к Шаламову, сколько вообще к интеллигенции, к «грамотеям», или «Иван Ивановичам», как называли интеллигентов в лагерях.

Ненависть эта активно подогревалась государством, видевшим врага в любой независимо мыслящей личности, подбиравшим эшелоны власти по принципу беспрекословного подчинения и слепого исполнительства, а потому культура, талант, мысль, принципы вызывали не только подозрение, но и заведомую неприязнь и отталкивание.

В.Шаламов с его особой чувствительностью к любой несправедливости остро ощущал этот порочный замкнутый круг неприязни и отчуждения, доводивший многих до отчаяния. Он не только защищал интеллигенцию от обращенных против нее обвинений, но и считал, что «долг каждого честного писателя — героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар. Это происходило не только в самих лагерях, — писал он А.Солженицыну, — но во всей человеческой истории. Борьба с "идеологией" из той же области».

Однако шаламовская апология интеллигенции отнюдь не имеет ничего общего с ее идеализацией. Нет, писатель и здесь смотрит на вещи достаточно трезво.

В рассказе «Бутырская тюрьма», отвечая на обсуждавшийся заключенными вопрос, кто более стоек, автор пишет: «...В лагере интеллигенты не держатся твердо. 1938 год показал, что пара плюх или палка — наиболее сильный аргумент в спорах с сильными духом интеллигентами. Рабочий или крестьянин, уступая интеллигенту в тонкости чувств и стоя ближе к своему ежедневному быту в лагерной жизни, способен сопротивляться больше. Но тоже не бесконечно».

Собственно, сама подобная постановка вопроса казуистически жестока и глубоко ложна по существу. Глубоко ложен критерий палки, насилия, как и критерий чрезвычайной ситуации, экстремальности условий, какие представлял лагерь или пытка в тюрьме.

К сожалению, такой подход, в основе которого лежит антигуманное отношение к человеку, свойственное тоталитарному государству, отношение как к винтику, как к подопытному животному выдержит — не выдержит, стал общим местом для нашего сознания с его почти ницшеанским культом сильных духом героев.

Для понимания позиции В.Шаламова его оценка поведения интеллигенции в лагере имеет существенное значение. С презрением он отзывается об интеллигентах, которые шли в услужение к блатарям, послушно тиская для них «романы», или заискивали перед разного рода начальством.

«Всю жизнь я наблюдал раболепство, пресмыкательство, самоунижение интеллигенции, а о других слоях общества и говорить нечего...» — резюмирует автор «Колымских рассказов».

Приговор В.Шаламова жесток и нелицеприятен, но коррективом к нему служит вот это самое — «а о других...». К интеллиген-

ции писатель предъявлял более высокие нравственные требования, чем к кому бы то ни было другому. Ее он судил по самому высокому нравственному счету.

Революционная традиция для него была важна и дорога не столько социальным пафосом преобразования, переделки общества, сколько нравственным пафосом личного подвижничества, жизненного подвига, способностью к самопожертвованию. И самого себя он чувствует продолжателем этой великой традиции именно в ее нравственном аспекте.

Предпочтение, которое отдает Шаламов этому началу в революционной деятельности, характерно не только для него. Оно имеет глубокие корни в национальном мироощущении, или, как теперь бы сказали, менталитете. Героический максимализм революционной интеллигенции, по сути, не столь уж далек от христианского подвижничества, воодушевляемого религиозным духом.

Правда, и разница между ними значительная, так как христианское подвижничество делает упор не на внешние цели, не на достижение социальной справедливости, а на цели внутренние, на нравственное самосовершенствование, на борьбу с собственными своеволием и гордыней.

Но и революционный максимализм, и христианское подвижничество имеют нечто общее — идею жертвы. Все ту же способность и готовность к самозакланию во имя высшей цели.

Не случайно многие мыслители начала века, осмысливая опыт революционного движения, приходили к выводу, что «в существе своем максимализм — не более и не менее как извращение одной из наиболее привлекательных и ценных сторон русского характера. Это — одна из многих аберраций нашего религиозного сознания — сбившееся с пути религиозное искание».

И далее автор этого пассажа кн.Евгений Трубецкой продолжает: «Неудовлетворенность всем вообще существованием, неспособность к компромиссам, непримиримость, склонность к повышенным, максималистским требованиям, — все это частные проявления той жажды безусловной, совершенной правды, которая живет не только в нашем интеллигенте, но и в простом народе».

Как видим, Е Трубецкой не противопоставляет интеллигенцию и народ. Напротив, он находит в них общее, объединяющее, может быть, самое важное, глубинное начало — искаженный религиозный дух, «сбившееся с пути религиозное искание».

Закономерно предположить, что и в В.Шаламове жила эта жажда совершенной правды и он не был чужд религиозному исканию.

ФОРМУЛА ЖИЗНИ

Вопрос о вере Шаламова — вопрос чрезвычайно сложный и важный.

Казалось бы, выходец из потомственной священнической семьи, он не мог не сохранять в душе религиозную основу, которая поддерживала дух многих верующих в самых суровых испытаниях. И тех, кто шел в лагеря за свою веру, и тех, кто обратился к Богу уже там, обретя в нем опору и надежду.

Из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына мы знаем, что тверже всего в лагерях держались именно верующие, так называемые религиозники, сектанты. Шаламов подтверждает это наблюдение: «Если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу, сохраняли и сохранили неизменно человеческие черты, — это сектанты и вообще религиозники, включая православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других групп населения, но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми».

Один из самых запоминающихся образов в рассказах Шаламова — образ самозабвенно молящегося посреди заснеженного леса заключенного, священника Замятина. Размашисто крестясь и негромко выговаривая немеющими от холода губами слова литургийной службы, он служит на лесной поляне обедню — одиноко и торжественно.

Теплом веет от этого одинокого человека, горячо шепчущего слова молитвы. «На лице его было выражение удивительное — то самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-либо равноценно дорогое».

Как много, казалось бы, должно было бы сказать сыну священника это зрелище! Но рассказчик, отдавая должное высоте духа Замятина, его верности Богу и священническому призванию, его чисто человеческому воодушевлению, вместе с тем остается почти невозмутим. Духовное воспарение Замятина не вызывает в нем особого энтузиазма и не ведет ни к каким «богооткровенным» выводам и озарениям.

Если вывод и делается, то в исключительно психологическом, стоическом плане: «Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали».

Этим «самым последним» могло быть разное — стремление вернуться к родным, к семье, любовь к детям и т.п., а не только вера в Бога.

Шаламов словно намеренно переводит разговор в более земное, рациональное, я бы даже сказал, русло, достаточно жестко и однозначно заявляет о своем отношении к религии Он как бы предвидит, что его ответ может иметь особую значимость, и потому хочет быть предельно честен «Бог умер» — вот его вывод

В рассказе «Необращенный» Нина Семеновна руководитель практики по внутренним болезням, пытается обратить будущего фельдшера в веру, дает ему Евангелие Столкнувшись же с его равнодушием, она вопрошает с нескрываемым удивлением «Как? Вы, проживший тысячу жизней? Вы воскресший? У вас нет религиозного чувства? Разве вы мало видели здесь трагедий?»

Но даже чувствуя свою зависимость от Нины Семеновны, рассказчик не хочет кривить душой Его ответ прям но в нем в то же время нет торжества гордыни, иронии, самодовольства Скорее — горечь от этой тяготящей его души но для него тем не менее неоспоримой правды

«Нет, — сказал я неслышным голосом, холодея от внутреннего своего опустошения — Разве и человеческих трагедий выход только религиозный?»

Выход веры представляется писателю, исходящему из своего внутреннего опыта, из познания страшной гулаговской реальности, слишком случайным, слишком частным и потому не решающим проблему «согласия с жизнью»

Заметим, что Шаламов не отрицает саму возможность такого выхода — для кого-то, но только не для себя Блажен кто верует, кому дано, кто обрел этот свет в окружающем мраке но — только не придумывать себе того, чего нет Для Шаламова важнее было оставаться самим собой — во всех случаях жизни

Достаточно определенно высказывается по этому поводу писатель и в «Четвертой Вологде» «Очевидно, у человека существует какой-то запас религиозных чувств — тоже вроде шагреневой ко-

жи, — тратится повседневно. И так как сложность жизни все возрастает, в этой возросшей сложности жизни нашей семьи для Бога у меня в моем сознании не было места. И я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме»

И все-таки, несмотря на заявленное безверие, религиозный дух, видимо, жил и в В Шаламове. Жил как духовная потребность в нравственном абсолюте, в этическом характере его максимализма, обобщенно звучавшем у писателя как требование достоинства

Не отсюда ли и то впечатление, которое вынесла из общения с Шаламовым в конце 60-х — первой половине 70-х годов И Сиротинская? « Вспоминая его слова, его поступки, даже интонации душевные проявления какие-то, я все чаще думаю, что ощущение мира у него было человека религиозного», — пишет она

Безусловная приверженность началам правды, совести и чести, преданность высшим ценностям и главным нравственным принципам (и среди них — единства слова и действия) — с этим вступал в жизнь юный Шаламов.

Наивный, он еще не понял, не мог понять, завороженный красивой мечтой о справедливости, тех намеков и предостережений, которые обращала к нему жизнь, новая послереволюционная действительность.

Выселение из квартиры и вселение в нее городского прокурора — это было только начало, которое могло показаться сравнительно безобидным, тем более что Шаламов, весь устремленный в будущее, не собирался оставаться в Вологде.

Для того чтобы поступать в высшее учебное заведение, Шаламову, которому учительница литературы предрекла стать гордостью России, нужно было получить разрешение заведующего роно — как сыну священника. Но вместо разрешения он получил от заведующего Ежкина краткий и весьма красноречивый ответ «Вот именно потому, что у тебя хорошие способности, ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — в вузе советском». А для пущей убедительности куратор местного народного просвещения сунул ему под нос... фигу

Сыну священника, то есть представителя чуждого социального слоя, путь к высшему образованю был заказан. Он уже был «не наш», как и его отец, к этому времени полностью ослепший лишенный всех источников пропитания.

О судьбе отца Шаламов поведал в рассказе «Крест», в основу которого положен реальный конкретный факт: слепой священник, когда их положение становится совсем безвыходным, рубит топором на кусочки уникальный золотой крест, чтобы на вырученные за золото деньги иметь возможность купить еды.

Для достоинства, совести и чести наступали не лучшие времена.

Впрочем, достоинство только тогда и выступает в истинном своем нравственном качестве, когда не зависит от конкретных обстоятельств, благоприятствующих или, напротив, неблагоприятствующих ему. От чьего-то милостивого позволения. Когда оно — духовный и нравственный императив самой личности. Когда оно — дух, а не оболочка, спадающая при легком потряхивании.

Шаламов, стремившийся к действию, был готов испытать себя, проверить свои нравственные силы, свое мужество, пропустить свои убеждения через горнило жизненного опыта, а если придется, то и страданий. Ему нужно было найти «формулу своей жизни», и эта потребность роднила его тоже с героями русской литературы и русской истории, через которую красной нитью проходит самопожертвование святых мучеников и борцов за дело народное.

Хотя Шаламов вроде бы и отвергает возможное определение его поведения как романтизма жертвы, выдвигая в качестве основного мотива достоинство, тем не менее романтизм этот в нем все-таки, вероятно, присутствовал. Да и концепция личности, наиболее близкая ему по духовному и душевному складу, была героически-жертвенная.

«Мне все время казалось, — вспоминает он в "Четвертой Вологде", — что я чего-то не сделал, — не успел, что должен был сделать. Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера».

Ссылка на Шиллера с его романтически-героизующим представлением о человеческом призвании вовсе не случайна. Как и юношеская любовь к Гюго, чье «Эрнани» будущий писатель смотрит в нетопленом вологодском театре, «от счастья ошалев», пользуясь словами из его стихотворения «Виктору Гюго».

Но в эту романтику — романтику «русского мальчика» — вплетается социально-политическая тема, соединявшая Шаламова с большой частью русской интеллигенции. И он с присущей ему склонностью к максимам выводит: «Русская интеллигенция без

тюрьмы, без тюремного опыта — не вполне русская интеллигенция».

И жизнь незамедлительно предоставила ему такой опыт.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В 1924 году семнадцатилетний Варлам Шаламов покидает Вологду. Два года он работает дубильщиком на кожевенном заводе в Сетуни, а в 1926 году становится студентом факультета советского права Московского государственного университета.

Жажда действия по-прежнему переполняет его, как и жажда познания. Митинги, демонстрации, философские и литературные диспуты, поэтические вечера — все влечет неудержимо... И конечно, пробы пера.

Однако столь насыщенная и активная жизнь готовившегося в юристы будущего автора «Колымских рассказов» быстро была оборвана. 19 февраля 1929 года В.Шаламов арестован и заключен в Бутырскую тюрьму, которую он подробно опишет в одноименном очерке.

В текстах Шаламова, опубликованных до сих пор, нет описания его первого ареста. Ни в рассказах, ни в воспоминаниях. Так что о его переживаниях в этот момент можно только догадываться.

Однако легко предположить, что писатель внутренне уже был готов к аресту, даже ожидал его. И он, в отличие от многих, для кого арест действительно был неожиданностью и потому потрясением, вероятно, знал за что: он был среди тех, кто распространял так называемое завещание Ленина, его знаменитое «Письмо к съезду».

Напомним, что в этом письме тяжело больной и фактически отстраненный от дел Ленин дает краткие характеристики своим ближайшим соратникам по партии, в чьих руках к этому времени сосредоточивалась основная власть, и, в частности, указывает на опасность концентрации ее у Сталина — в силу его неприглядных человеческих качеств.

Именно это всячески замалчиваемое тогда письмо, объявленное после смерти Ленина фальшивкой, опровергало усиленно насаждавшийся миф о Сталине как единственном, бесспорном и наиболее последовательном преемнике вождя мирового пролетариата.

В «Вишере» Шаламов пишет: «Я ведь был представителем тех людей, которые выступили против Сталина, — никто и никогда не считал, что Сталин и Советская власть — одно и то же».

И далее он продолжает:

«Скрытое от народа завещание Ленина казалось мне достойным приложением моих сил. Конечно, я был еще слепым щенком тогда. Но я не боялся жизни и смело вступил в борьбу с ней в той форме, в какой боролись с жизнью и за жизнь герои моих детских и юношеских лет — все русские революционеры».

Для Шаламова это была борьба, к которой он отнесся вполне сознательно, потому что хотел прежде всего оставаться честным человеком, что, собственно, и означало для него быть революционером.

Поэтому и свое первое тюремное заключение, а затем и трехлетний срок в Вишерских лагерях он воспринял как неизбежное и необходимое испытание, данное ему для пробы нравственных и физических сил, для проверки себя как личности.

«Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице, — вот о чем я раздумывал в 95-й камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы. Там были прекрасные условия для обдумывания жизни, и я благодарю Бутырскую тюрьму за то, что в поисках нужной формулы моей жизни я очутился один в тюремной камере».

К тюрьме писатель отнесся как к возможности додумать, дорешить прежде всего экзистенциальные проблемы, стоявшие перед ним как перед человеком, стремящимся достойно прожить свою жизнь, остаться верным самому себе, своей человеческой нравственной сущности.

В Бутырской тюрьме Шаламов решает для себя проблему личности. Здесь он продолжает начатый еще на воле спор с одной из ключевых идей русской религиозной философии начала века — идеей соборного «мы», активным пропагандистом которой был известный мыслитель и публицист Д.Мережковский.

Шаламов утверждает в противовес ей именно одиночество как оптимальное состояние личности. Он видит в единице «идеальную» цифру. С неожиданным напором и даже экзальтацией он провозглашает, что «помощь единице оказывает Бог, идея, вера».

Даже если рассматривать столь патетически окрашенный лексический ряд — «Бог, идея, вера» (вовсе не характерный для писателя) только как чисто стилевой ход, то и все равно, думается,

здесь просвечивает очень важный для характеристики шаламовского миропонимания мотив — глубинная связь личности с высшим абсолютным началом, обнаруживающимся в голосе человеческой совести И если можно говорить о религиозности Шаламова, то вероятно, именно в этом плане

Автор «Вишеры» пишет, что к этому времени он «твердо решил — на всю жизнь[1] — поступать только по своей совести Никаких других мнений Худо ли хорошо ли проживу я свою жизнь, но слушать я никого не буду ни "больших", ни "маленьких" людей Мои ошибки будут моими ошибками, мои победы — моими победами»

Образ тюрьмы в шаламовском жизнеописании может показаться даже привлекательным Для него это был действительно новый и, главное посильный опыт вселявший в его душу уверенность в собственных силах и неограниченных возможностях внутреннего духовного и нравственного сопротивления

Всегда Шаламов будет подчеркивать кардинальную разницу между тюрьмой и лагерем

По свидетельству писателя, тюремный быт и в 1929 году и в 1937 году, во всяком случае в Бутырках оставался куда менее жестоким по сравнению с лагерным Здесь даже функционировала библиотека, «единственная библиотека Москвы, а может быть и страны, не испытавшая всевозможных изъятий, уничтожений и конфискаций которые в сталинское время навеки разрушили книжные фонды сотен тысяч библиотек» и заключенные могли ею пользоваться Некоторые изучали иностранные языки А после обеда время отводилось на «лекции» каждый имел возможность рассказать что-либо интересное другим

В тюрьме, как свидетельствует писатель," человеку не хватает сил скрыть свой истинный характер — притвориться не тем что он есть, в следственной камере тюрьмы, в минутах, часах сутках, неделях, месяцах напряженности, нервности, когда все лишнее, показное слетает с людей как шелуха. И остается истина — созданная не тюрьмой, но тюрьмой проверенная и испытанная. Воля еще не сломленная, не раздавленная, как почти неизбежно бывает"

Тюрьма и лагерь как школа Как опыт самопознания и познания человека, его сущности Поиск ответа на вопрос: может ли человек выстоять в экстремальных условиях и остаться человеком? На вопрос о смысле и цене жизни

Вот, по сути, главная тема, главный сюжет шаламовского жизнеописания, его «Колымских рассказов».

Этот вопрос он не просто обращает к самому себе, но фактически на себе как бы ставит эксперимент. Нетрудно заметить, что многие рассказы Шаламова строятся по принципу «вопрос — ответ», повествование часто тяготеет к своего рода формульности, к интеллектуальным «эссенциям».

«Я понял...», «он понял...», « мы поняли...» — начинающиеся так фразы в большом количестве присутствуют в его произведениях. Сначала задается некий тезис, возникает некое предположение о том, как надо жить и что делать, а затем в рассказе либо следует его подтверждение, либо, напротив, опровержение. Либо весь рассказ как бы нанизывается на некую уже найденную и неопровержимую формулу, иллюстрацией к которой он служит.

«Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач».

Вокруг такого рода духовно-интеллектуальных «эссенций», как вокруг теплового ядра, концентрируется содержание рассказов, организуется их текст.

Эту особенность шаламовской прозы важно отметить с самого начала, так как в ней находит выражение не только основная закономерность его поэтики, о которой нам еще предстоит говорить, но и глубинная «конструкция» его собственного бытия, его экзистенциальное вопрошание о феномене человека.

ИТОГИ ВИШЕРЫ

Итак, достоинство. Совесть. Единство слова и дела.

Вот главные принципы, с которыми Шаламов выходит из тюрьмы в пока еще неведомый ему лагерный мир, не только не поколебленный, но еще более убежденный в их правильности.

Не удивительно, что в первой же ситуации, оскорбившей его чутко настроенное нравственное чувство, Шаламов поступает так, как подсказывает ему совесть.

Это произошло во время этапа на Вишеру, где находилось 4-е отделение УСЛОНа (Соловецкие лагеря особого назначения) и куда был направлен писатель. На глазах у молчащего строя заключенных конвойные зверски избивают сектанта Петра Зайца.

Писатель вспоминает:

«Я подумал, что, если я сейчас не выйду вперед, я перестану себя уважать.

Я шагнул вперед.

— Это не Советская власть. Что вы делаете?

Избиение остановилось. Начальник конвоя, дыша самогонным перегаром, придвинулся ко мне.

— Фамилия?»

Догадывался ли Шаламов, что так просто это выступление ему не спустят? Задумывался ли об этом?

Позже он сделает один из наиболее важных выводов, который позволял узнику в его рабском, униженном положении хоть на мгновение разорвать кольцо собственного бессилия, сбросить цепи бесправия.

«Одна из идей, понятых и усвоенных мной в те первые концлагерные годы, кратко выражалась так:

— Раньше сделай, а потом спроси, можно ли это сделать. Так ты разрушаешь рабство, привычку во всех случаях жизни искать чужого решения, кого-то о чем-то спрашивать, ждать, пока тебя не позовут».

Шаламову почти сразу же дали понять, кто здесь хозяин и что его ждет, если он, обычный заключенный, решит и дальше продолжать качать права или протестовать. Те же самые конвойные ночью вывели его босиком на мороз и заставили так стоять, наглядно продемонстрировав его полное бесправие и свое всевластие

Произвол конвоиров, в данном случае проявившийся в избиении сектанта, а потом и в мести Шаламову, отнюдь не был чем-то экстраординарным, не был исключением.

О.Волков в «Погружении во тьму» вспоминает, как был поражен насилием, чинимым охранниками над только что прибывшим этапом, уже в первые лагерные сутки. Падающих поднимали, разбивали в кровь лицо, пинали ногами. Чуть позже он узнает о таком роде наказании, как ставить «на комары», когда раздетого догола заключенного отдавали на съедение полчищам свирепых соловецких комаров, облеплявших беззащитное тело серым шевелящимся саваном. Узнает, как пристреливают «при попытке к бегству» ни о чем таком вовсе и не помышлявшего заключенного.

«Пусть память и хранила расправы и насилия первых лет революции, — пишет О.Волков, — да и в тюрьме не миндальничали,

но еще не приходилось убеждаться, чтобы произвол возводился в систему. Да к тому же развернутую в таких масштабах...»

В этих условиях любая попытка протеста грозила мгновенной безжалостной расправой, потерей здоровья, а то и гибелью. Поэтому формула «раньше сделай, а потом спроси...» была формулой бунта — бунта человеческого достоинства и совести против инстинкта самосохранения, который приказывал молчать и не высовываться, против лагерного индивидуалистического закона: «умри ты сегодня, а я завтра», обрекающего человека на беспомощность и равнодушие окружающих.

Шаламов готов был к борьбе. Но законы воли, как и законы тюрьмы, были иными, нежели лагерные. И можно предположить, что уже первые вишерские впечатления, включая произвол конвойных на этапе, повергли писателя в некоторую растерянность.

«Пришлось поступать по догадке: что достойно? Что недостойно? Что мне можно и чего мне нельзя? Этого я не знал, а жизнь ставила передо мной один за другим вопросы, требовавшие немедленного разрешения».

Безусловно, вишерский опыт был чрезвычайно важен для будущего писателя, который поставит перед собой цель рассказать о том, что происходит с человеком в лагерном аду.

Существенно, что в «Вишере», антиромане, как назовет автор цикл рассказов и очерков, повествующих о встреченных в те первые годы тюремного и лагерного заключения людях и перипетиях собственной судьбы, гораздо рельефней, чем в собственно «Колымских рассказах», выражено именно воспитательное начало.

В «Вишере» Шаламов не только нравоописатель и исследователь, но и ученик, извлекающий уроки из выпавшего на его долю опыта. Он не только познает, но и стремится доказать себе и другим, что он честен и готов следовать велению своей совести.

Писатель признается: «Но заступался я за Зайца не для Зайца, не для утверждения правды-справедливости. Просто хотел доказать себе самому, что я ничем не хуже любых моих любимых героев из прошлого русской истории».

Путь через Вишеру для В.Шаламова — путь самоутверждения в истинном человеческом качестве. В его внутреннем настрое еще присутствует романтический элемент. Писатель еще чувствует себя Орфеем, спускающимся в ад.

Потом многие наблюдения и впечатления первых трех лагерных лет войдут и в «Колымские рассказы»; их временная конкре-

тика как бы отодвинется на второй план, уступив место художественному осмыслению универсальных черт лагеря и закономерностей человеческого поведения в нем.

В вишерском антиромане еще не чувствуется той безнадежности, которая зазвучит в «Колымских рассказах» с их главной идеей лагеря как абсолютного зла. Деталь здесь несет еще отчасти «вспоминательный» характер, а не становится глыбой, о которую разбиваются наши представления о разумном мироустройстве, о пределах зла, о милосердии и прочих началах христианской цивилизации. Наши представления о норме.

Деталь здесь еще не стала символом лагерного и тоталитарного растления, когда человек перестает быть человеком.

Да, итоги Вишеры пока другие, как бы не бесповоротно отрицательные.

«Что мне дала Вишера?» — спрашивает писатель. И отвечает: «Это три года разочарований в друзьях, несбывшихся детских надежд. Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжелой пробой — начиная с этапа из Соликамска на Север в апреле 1929 года, — один, без друзей и единомышленников, я выдержал пробу — физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал хорошо, что жизнь — это штука серьезная, но бояться ее не надо. Я был готов жить».

ГОЛОС НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В 1932 году Шаламов возвращается в Москву.

С присущей ему энергией и стремлением наверстать упущенное за отнятые годы, он активно включается в литературную жизнь, активно сотрудничает в газетах, журналах, пишет статьи, очерки, фельетоны, рассказы...

В первом номере журнала «Октябрь» за 1936 год опубликована новелла Шаламова «Три смерти доктора Аустино». В ней, несмотря на романтическую приподнятость тона, уже более или менее ясно проступает поздний Шаламов. Но даже и некоторые наиболее характерные мотивы его будущих вещей уже присутствуют здесь, хотя пока еще в закамуфлированном, ослабленном виде.

Вишерский опыт требовал своего выражения.

В новелле — тюрьма, приговоренные в ожидании расстрела. В их числе доктор Аустино, которого буквально за мгновение до ис-

полнения приговора вызывают к жене начальника тюрьмы, так как у нее начались преждевременные роды.

Доктор Аустино колеблется: начальник — зверь, собственноручно избивающий заключенных, жена его не многим лучше. Отказавшись, он был бы тут же расстрелян, но и стал бы вместе с тем орудием возмездия. Но он врач, давший клятву, и он лелеет тайно надежду, что в благодарность ему будет оставлена жизнь.

Доктор благополучно принимает роды, а на следующий день палачи снова ставят его к стенке.

Появление этой новеллы в печати может показаться несколько странным. Скорей всего это стало возможным только на фоне испанских событий предшествующих лет, когда пафос ее мог быть расценен как антифашистский, без всяких аллюзий на отечественную реальность, контуры которой — во всяком случае если смотреть из сегодня — вполне различимы в новелле, в отдельных ее деталях.

Ровно через год после публикации новеллы, в январе 1937 года, эта реальность для самого Шаламова вновь проявляется во всей своей грозной очевидности: писателя снова арестовывают. На этот раз приговор — пять лет Колымских лагерей. Потом эти пять превратятся в пятнадцать, поскольку в 1943 году Шаламову добавят еще десять — за антисоветскую агитацию. Агитация же заключалась в том, что он назвал эмигранта Бунина русским классиком.

Понятно, что не будь такого повода, нашелся бы другой, не менее, а может быть, и более дикий и фантастический. Как любили шутить следователи: был бы человек, а дело найдется.

Шаламову предстояло еще раз проверить себя, испытать свои силы — физические и нравственные. Уточнить выводы, сделанные на Вишере.

У него уже был немалый опыт. Он крепко стоял на ногах. На Колыму Шаламов отправлялся уже не новичком, а значит, в какой-то мере защищенным, в отличие от тех, кого сразу швырнули в эту гигантскую ледяную топку.

Впрочем, защищенность эта, как оказалось, была иллюзорной.

Об этом и поведал писатель в «Колымских рассказах», которые создавались с 1954 по 1973 год.

Он сам разделил их на шесть книг: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка или КР-2».

В широком смысле все рассказы Шаламова, написанные после освобождения, — колымские. Хотя некоторые из них к Колыме вроде бы отношения не имеют — как, например, «Крест», «У стремени» и другие. В них воплощен и опыт первых послереволюционных лет, и вишерский, но все они объединены не только уже окончательно сформировавшейся авторской поэтикой, но, главное, новым колымским зрением и миропониманием.

Страшный колымский опыт, состоявший из многократных смертей и воскресений, из безмерных мук от голода и холода, из безмерных унижений, превращающих человека в животное, — вот что легло в основу шаламовской прозы, которую он называл новой.

Можно сколько угодно нанизывать устрашающих эпитетов к этой запредельной реальности, но только умом мы можем постичь всю ее бесчеловечность, представить же — вряд ли. Шаламов и исходил из того, что «все тамошнее слишком необычайно, невероятно, и бедный человеческий мозг просто не в силах представить в конкретных образах тамошнюю жизнь...».

Многое в системе человеческих представлений и ценностей в свете этого нового, дотоле неведомого опыта требовало пересмотра, словно в самой сердцевине, в самой сущности человеческого существования обнаружился смертоносный нарыв.

Что Шаламову удалось выразить этот опыт — именно в «конкретных образах», говорит то неизгладимое, переворачивающее душу впечатление, какое производят на читателя его рассказы.

Характерно в этом отношении, думается, такое признание: «К этому времени я прочитала те его рассказы, что ходили в самиздате. "Тифозный карантин" вызвал просто боль, пронзительную боль в сердце. Казалось, что-то нужно сделать сейчас же, неотложно. Иначе жить, иначе думать. Подломились какие-то основы, опоры души, привыкшей верить в справедливость, конечную справедливость мира: что добро восторжествует, а зло будет наказано.

Я шла к нему как к новому пророку, чтобы спросить: как жить?» (И.Сиротинская).

Симптоматична сама реакция читательская — как бы внеэстетическая, иного — духовно-экзистенциального — порядка: «подломились какие-то основы, опоры души...» Рушится привычный, традиционный образ мира.

Естествен и вопрос — к нему, к автору, вынесшему в себе этот экстремальный опыт, а следовательно, постигшему последнюю ис-

тину об этом мире и человеке в нем: как жить? Автор воспринимается не иначе как носитель некой истины, как пророк, способный если не восстановить распавшиеся связи, то, во всяком случае, научить, указать путь, выход из бытийного тупика.

Однако именно от этого открещивался Шаламов — от учительства.

Именно здесь заключалось его главное расхождение с гуманистической русской литературной классикой прошлого века, на которую автор «Колымских рассказов» обрушивает яростные инвективы. Ее он обвиняет в прямой причастности к трагедиям безумного XX столетия, к главным историческим преступлениям века.

«Несчастье русской литературы... в том, что она лезет в чужие дела, направляет чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает...»

Или еще жестче:

«Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики — ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить. От их наследия новая проза отказывается».

Шаламов не первый и не последний, кто упрекал русскую классику в наивности ее гуманизма, за ее нравственный пафос или социальное недовольство.

Не думаю, что русская литература прошлого века так уж нуждается в защите. Сказать, что она только учила, «ничего не понимая», а не предчувствовала и не предрекала грядущие катастрофы, что она не стремилась понять, — значит представить проблему слишком односторонне, упростить и обеднить ее.

Впрочем, у самого Шаламова имеются и другие высказывания по этому поводу, свидетельствующие, что его отношение к русской классике не было столь уж однозначным. Не он ли выделял, к примеру, Достоевского с его пророчествами и предвидениями, выразившимися в тех же «Записках из подполья», «Бесах», «Сне смешного человека» и других произведениях?

У русской классики была своя правда, основанная на духовном опыте ее творцов, от ее лица она и выступала, помогая человеку верить в свое высокое предназначение, в реальность победы добра над злом.

Голос Шаламова должен был прозвучать — как голос новой реальности, свидетельствовавший о крахе гуманистических идей про-

шлого столетия, изнутри нее, чтобы потом сверять ту правду с этой, новой, чтобы жить лицом к лицу с ней, постоянно помня о той близкой и часто не очень заметной грани, за которой распад и бездна. За которой утрата истинно человеческого.

ПРЕОБРАЖЕННЫЙ ДОКУМЕНТ

Двадцатый век действительно ярко продемонстрировал хрупкость ценностей христианской культуры и нравственности, их бессилие перед стихией зла, живущей в самом человеке, в созданных им государственных структурах, обнажил предельность духовной природы человека и тонкость нравственного слоя, легко подвергающегося коррозии в зависимости от обстоятельств.

Революции, войны, геноцид, террор, насилие в неведомых дотоле масштабах делали многие накапливавшиеся столетиями человеческие ценности проблематичными, если не сказать, сомнительными.

В России, вздыбленной революцией, обескровленной гражданской войной, в России, пережившей тектонический социальный катаклизм и отрекавшейся от «старого мира», этот всемирный кризис классического гуманизма, гуманистической христианской культуры проявился особенно остро и болезненно.

Еще в начале 2О-х годов крупнейший русский социолог Питирим Сорокин, высланный в 1922 году за границу вместе с другими выдающимися деятелями русской культуры, писал: «Три с половиной года войны и три года революции, увы, «сняли» с людей пленку цивилизации, разбили ряд тормозов и «оголили» человека. Такая «школа» не прошла даром. Дрессировка сделала свое дело. В итоге ее не стало ни недостатка в специалистах-палачах, ни в убийцах, ни в преступниках. Жизнь человека потеряла ценность. Моральное сознание отупело. Ничто больше не удерживало от преступлений. Рука поднималась на жизнь не только близких, но и своих. Преступления стали «предрассудками». Нормы права и нравственности — «идеологией буржуазии». «Все позволено», — лишь бы было удобно — вот принцип смердяковщины, который стал управлять поведением многих и многих».

«Новая проза» В.Шаламова, как сам он ее определял, должна была стать отражением той распадающейся реальности, отражением и осмыслением нового состояния человека. Выражением нового опыта.

Автор «Колымских рассказов» много размышлял о своеобразии своей прозы, о ее поэтике, о ее духовно-психологических и эстети-

ческих истоках. В своих письмах и заметках он неоднократно формулировал те нравственные и художественные требования, которые сам предъявлял к своим произведениям. Путь интуиции для него не отрицал профессионально-сознательного отношения к творчеству, проясняющего закон, который он сам над собой признавал.

Один из главных принципов «новой прозы», по Шаламову, заключается в том, что она «может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, — для которых овладение материалом, его художественное преображение не является чисто литературной задачей, — а долгом, нравственным императивом».

Есть вещи в человеческой жизни, прикосновение к которым со стороны литературы должно быть особенно бережным, поскольку любая неосторожность вымысла, приблизительность беллетризма, искусственность конструкции способны легко обернуться невольным кощунством. Своего рода равнодушным соглядатайством.

Шаламов всячески подчеркивал эту опасность в художественном освоении лагерной темы.

Вот почему он утверждает, что «писатель — не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли». Он отрицает принцип «туризма», ассоциирующийся у него с именем Хемингуэя, то есть принцип «над жизнью» или «вовне».

«Новая проза», по мысли Шаламова, должна быть непосредственно и нераздельно связана с судьбой писателя, причем не конструируемой произвольно, но равносильной року, как понимался он в античной трагедии. Не игра, но участь.

Писатель должен постоянно помнить об этой участи, доставшейся не ему одному, но многим и многим. Он и должен повествовать как бы изнутри ее, и потому «автор, рассказчик, должен быть ниже всех, меньше всех». Ведь ему, в отличие от других, даровано слово, дано высказываться. Он — голос многих. Живых и мертвых.

Твоей — и то не хватит силы,
Чтоб я забыл в конце концов
Глухие братские могилы
Моих нетленных мертвецов, —

писал Шаламов в стихотворении «Возвращение».

Пройдя Колыму, писатель уже чувствовал себя не Орфеем, спускавшимся в преисподнюю, но Плутоном, поднявшимся из ада. Реальность, виденная и пережитая им, взывала к свидетельству, а не к художеству. К изживанию этого страшного опыта, а не к его эстетическому преображению.

Этот жизненный опыт отрицал литературу. Отрицал именно как искусство, как известную степень отстраненности, в самой возможности которой было нечто кощунственное по отношению к человеческим мукам.

Не случайно Шаламов ставил под сомнение право искусства изображать их. Он писал: «Есть какая-то глубочайшая неправда в том, что человеческое страдание становится предметом искусства, что живая кровь, мука, боль выступают в виде картины, стихотворения, романа. Это — всегда фальшь, всегда. Никакой Ремарк не передаст боль и горе войны. Хуже всего то, что для художника записать — это значит отделаться от боли, ослабить боль — свою, внутри, боль. И это тоже плохо».

Как видим, даже освобождение от боли, которое приносит творчество самому художнику, для Шаламова не очень приемлемо. В основе такого максимализма — стремление к некоей абсолютной, как бы внеэстетической значимости текста, к предельной идентичности изображения и изображаемого, знака и означаемого.

По сути, Шаламов отрицает литературу. Краткость, простота, ясность изложения в «новой прозе», по его мнению, это тоже преодоление «всего, что... может быть названо литературой». Как важнейший принцип — в противоположность вымыслу — писатель выдвигает принцип документальности, делающий эту прозу «преображенным документом».

«Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преображенное и освященное огнем таланта», — формулирует писатель.

В его записях можно найти и несколько иные модификации той же мысли, но суть одна: литература в этом ареале своего исследования должна превзойти сама себя, выйти за свои пределы, исчезнуть и... возродиться в ином, новом качестве.

Собственно, такие попытки литература уже предпринимала, и неоднократно, до Шаламова, стремясь к внутреннему обновлению, к перестройке художественной оптики, к тому, чтобы «сказаться без слов, без формы». Одна из них — «литература факта» 20-х го-

дов, также сделавшая ставку на документ, на преодоление традиционных повествовательных средств

Автор «Колымских рассказов» хотел добиться максимальной убедительности своей прозы Для него в первую очередь было важно «воскресить чувство» — то чувство, которое испытывал человек в нечеловеческих условиях лагеря «Чувство должно вернуться, побеждая контроль времени, изменение оценок Только при этом условии возможно воскресить жизнь».

Размышления писателя о его прозе вовсе не обязательно воспринимать как безупречную, единственно верную теорию Это тоже истолкование, важное прежде всего как психологическое свидетельство, как авторское понимание своей задачи и направления усилий, как авторское осмысление результатов собственного творчества, действительно проливающее свет на его закономерности.

Шаламовские рассказы, конечно же, остаются в пределах художественной словесности Конечно, это тоже искусство в котором неразъемно сплавлены, «преображены» факт и вымысел, уникальная конкретика жизни и обобщение В них есть тот «магический кристалл», который позволяет нам, насколько возможно, почувствовать пульсацию живой реальности, которую изображает автор, и в то же время ощутить его «открытую сердечную рану»

Есть в них, безусловно, и новизна — авторского взгляда, проникновения, но в первую очередь, конечно, это новизна материала и темы, которая, по справедливому замечанию Шаламова, «сама диктует определенные художественные принципы», определенное художественное решение

«ДЕВЯТЫЙ КРУГ АДА»

Варлам Шаламов с полным основанием чувствовал себя первопроходцем, первооткрывателем лагерной темы первооткрывателем этой страны в стране — «архипелага ГУЛАГ» как позже точно и крылато назовет эту страну А Солженицын

«Автор "КР" (так обозначал кратко писатель «Колымские рассказы»), — писал о себе в третьем лице Шаламов, излагая принципы «новой прозы», — считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря Лагерь — отрицатель-

ный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики».

И тем не менее он писал о лагере, не мог не писать, считая это своим безусловным нравственным долгом, велением судьбы, позволившей ему выжить. И рассказать о виденном и пережитом. Известно, что многие из воевавших или бывших заключенных не любят вспоминать эти годы, как бы бессознательно исключают их из жизни, стремясь избежать боли, которую несут воспоминания Потому что каждое такое воспоминание — душевная травма.

Нам трудно представить, какого огромного душевного напряжения стоили писателю его рассказы. Он каждый раз заново вызывал страшные призраки, до последних дней мучившие его. Освобожденный, он сам себя не освободил. Он сам себя сознательно обрекал на бессрочную каторгу.

Вот как он описывает свой творческий процесс.

«Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу Кричу, угрожаю, плачу И слез мне не остановить. Только после кончая рассказ или часть рассказа, я утираю слезы».

В рассказах и записях В.Шаламова есть прямые параллели между Колымой и Освенцимом, а в некоторых своих суждениях он считает Колымские лагеря гораздо более жестокими, чем тот же Освенцим. «Конечно, на Колыме не было душегубок, — пишет он в рассказе "Уроки любви", — здесь предпочитали вымораживать, «доводить» — результат был самый утешительный».

Но признать сходство подразумевало и другое, куда более серьезное — признать глубинное, сущностное родство сталинизма и фашизма, родство режимов.

Достаточно абстрагироваться от лозунгов, действительно во многом противоположных, как бы несовместимых по духу, и взять только один, самый главный критерий — отношение к человеку как становится очевидно, что природа, суть обоих режимов: безграничное насилие. Равнодушие к человеческой жизни и человеческой душе.

Вечная мерзлота Колымы и газовые печи Освенцима — самое яркое и убедительное выражение этого отношения.

В рассказе «Надгробное слово» Шаламов вспоминает тех, с кем повстречался и сблизился в лагерях. Рассказ так и начинается «Все умерли...»

Дальше следуют имена и некоторые подробности. Кто умер и как умер. Сценки и эпизоды, подобно мозаикам, складываются в замысловатый узор — узор смерти.

«Николай Казимирович Барбэ, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян по рапорту молодого начальника участка, молодого коммуниста Арма...»

«Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной работяги не хотели работать».

Гибель, безвременная, насильственная, — вот что становится сюжетом рассказа, притягивающим, как магнит, страшные реалии лагерной жизни. Чувство обреченности и безнадежности пронизывает его. «Все умерли...»

С таким же правом Шаламов мог написать: «Все убиты...» или «Все замучены до смерти...»

Некоторые из смертей автор изображает более детально.

«Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся».

Или другое:

«Он вдруг начал отчаянно бить кайлом по камню траншеи. Кайло было тяжелым. Хвостов бил наотмашь, почти без перерыва бил. Я подивился такой силе. Мы давно были вместе, давно голодали. Потом кайло упало и зазвенело. Я оглянулся. Хвостов стоял, расставив ноги, и шатался. Колени его сгибались. Он качнулся и упал лицом вниз. Он вытянул далеко вперед руки в тех самых рукавицах, которые он каждый вечер сам штопал».

Шаламов не стремится поразить читателя, не форсирует интонации. Напротив, его описания подчеркнуто будничны, замедленно-подробны, но почти каждая вполне реалистическая деталь в своей безжалостной выразительности — как знак ирреальности происходящего.

Можно сказать, что повествование в «Колымских рассказах» эпически спокойно, и это спокойствие, замедленность, заторможенность — не только прием, позволяющий нам пристальнее рассмотреть этот запредельный мир, больше того — заставляющий видеть беспощадно ясно агонию загнанного, обреченного человека. Писатель не дает нам отвернуться, не видеть.

Но за этим эпическим спокойствием — еще и привычка. Обыденность агонии. Обыденность смерти. Смерть перестала быть событием. Она не поражает и не ужасает. Отношение к ней стано-

вится таким же безразличным, как и ко всему прочему, кроме разве что насыщения вечного мучительного голода. Смерть уже не связана с представлением о смысле и сущности человеческого существования. Смерть перестает быть экзистенциальным актом, единственным и неотменимым, она уже не звучит финальным аккордом человеческой жизни, в ней нет торжественности и величавости.

Метафора ада, обычно встречающаяся в различных воспоминаниях о лагерях, подразумевает не только нечеловеческие муки заключенных, ад — царство мертвых. Царство смерти.

В рассказах Шаламова множество смертей, которые с полным правом можно считать насильственными, даже если человек погибает от голода или измождения, а не от пули конвоира или удара бригадира. Их так много, что как бы перестаешь их замечать. Не случайно писатель в послесловии к своей пьесе «Анна Ивановна», где сошлись основные мотивы его рассказов, замечает: «Суть первой картины — ее обыкновенность. Убийство не должно никого удивлять».

«Много я видел человеческих смертей на Севере — пожалуй, даже слишком много для одного человека...» — так начинается рассказ «Первая смерть».

Вот и персонажи рассказов относятся к смерти других заключенных буднично-равнодушно — как к неизбежному, обыденному явлению, почти полностью утратившему свой трагизм.

В рассказе «Шерри-бренди» подробно, с психологической дотошностью описывается, как умирает от истощения поэт. Он уже не встает с нар, у него уже нет сил ни на что — даже на то, чтобы есть. Когда же наступает конец, его не списывают сразу, как положено: «изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка».

Чужая смерть рассматривается живыми в сугубо практическом плане — из нее стремятся извлечь хоть какую-то выгоду, хоть какую-то пользу, как в случае с умершим поэтом. Или как в рассказе «Ночью», где двое зеков разбирают камни могилы, чтобы раздеть мертвецов, а потом променять их одежду на хлеб и табак.

Известный австрийский психолог В.Франкл в работе «Психолог в концентрационном лагере» приводит описание переживаний бывшего узника Освенцима, который после освобождения страдал от навязчивых представлений: «Я видел похороны с пышным гробом

и музыкой — и начинал смеяться; не безумцы ли — устраивать такое из-за одного-единственного покойника?»

Количество переходит в качество сознания, формирует иное отношение к жизни вообще и к жизни отдельного человека. Происходит обесценение человеческого существования, обесценение личности, меняющее все понятия о добре и зле, искажающее человеческую душу.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ

Растление — одно из самых грозных слов в шаламовском приговоре лагерю.

Образ лагеря в шаламовской прозе — это и есть, в сущности, образ растления, разными путями и на разных уровнях, от бытийного до физиологического, проникающего в человеческую душу. Разрушающего ее.

Обесценение и обессмысливание жизни, отравленной смертью, ее обыденностью и легкостью, как видим, тоже входит в понятие растления, является одним из самых мощных его факторов, как бы охватывающим многие другие.

Вспомним, что после Вишеры Шаламов был уверен в своих силах и был готов к борьбе с любыми обстоятельствами, чтобы оставаться в согласии с собственной совестью.

Опыт Колымы изменяет его представление не только о самом себе, но и о возможностях человека вообще. Именно здесь, на этом «полюсе лютости», как назвал Колыму А.Солженицын, он понимает, что нравственные и тем более физические силы человека небезграничны, что не так далек предел, когда человек перестает быть человеком и высшие требования к нему уже ничего не значат.

В рассказе «Две встречи» он объясняет:

«Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест Я был самым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг».

Эти законы подразумевали прежде всего то, что человек уже не может, не способен отвечать за себя Доходяга, то есть заключенный, достигший предельной степени истощения, находящийся на грани гибели, нравственно почти невменяем Он живет лишь самыми элементарными, животными инстинктами, сознание его мутно воля атрофирована

Однако В Шаламов не отменяет нравственных требований ни к себе, ни к другим. Он как был, так и остался максималистом, хотя близкий ему рассказчик в его произведениях обычно дегероизируется

В.Шаламов определяет своеобразие «Колымских рассказов» как «фиксацию исключительного состояния, исключительных обстоятельств, которые, оказывается, могут быть и в истории, и в человеческой душе Человеческая душа, ее пределы, ее моральные границы растянуты безгранично — исторический опыт помочь тут не может»

Это одна из самых точных формул писателя: «фиксация исключительного в состоянии исключительности».

Отсюда во многом — очерковое, документальное начало в «Колымских рассказах», первопроходческий этнографизм и натурализм, пристрастие Шаламова к точной цифре, еще более усиливающей достоверность повествования

«Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно, — читаем в рассказе «Плотники», — выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно — значит, сорок пять градусов, если дыхание шумно и заметна одышка — пятьдесят градусов Свыше пятидесяти пяти градусов — плевок замерзает на лету Плевки замерзали на лету уже две недели»

Стиль этого отрывка очень характерен для шаламовской прозы с документальной поэтикой исключительности, экстремального состояния тела и души человека. Плевок, замерзающий на лету, так же трудно представить, как и то, что в этих условиях возможно существовать, а тем более работать.

Может ли человек в таких условиях остаться самим собой, как бы спрашивает автор. И отвечает от лица героя Поташникова, чувствующего, что силы его тают с каждым днем, с каждым часом «Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, до-

брался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа».

Шаламов жестко увязывает происходящее с душой — с физической природой человека, уязвимого для голода, холода, болезней, побоев и т.п. Расчеловечивание человека, как показывает он, начинается именно с физических мук. Материальный процесс распада не может не затронуть и дух человеческий, нравственную волю, приводя в конечном счете к разрушению личности — еще до ее физической гибели.

Наверно, никто так не рассказал о голоде, не описал его мук, не показал, как он, подобно хищному жестокому зверю, постоянно грызет внутренности и душу заключенного, как это сделал автор «Колымских рассказов».

Во многих рассказах Шаламова (например, в «Сгущенном молоке», «Хлебе» и др.) мы находим детальное описание феноменологии естественной потребности человека, превращенной жесточайшими условиями в страсть, в болезнь, в дикий инстинкт, способный сделать из самого человека опасного зверя. Он будет биться насмерть за кусок хлеба, рыться в отбросах, доходить до каннибальства... О каком достоинстве может идти речь, если человек в таком состоянии просто не в силах больше ни о чем думать, кроме как о еде?

Голод — беда, голод — унижение, голод — драма...

Шаламов пишет об этом так, что даже никогда не испытавший настоящего голода не посмеет иронически усмехнуться — слишком страшна и необорима такая пригнетенность человека, его зависимость от желудка.

Вот как изображает писатель раздачу еды и переживания вечно голодного зека.

«Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов больше или меньше — десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, — могут привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить нечего...

Пока раздатчик приближается, каждый уже подсчитал, какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах. Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением, что-

бы открыть их только тогда, когда раздатчик толкнет его и протянет селедочный паек».

Вечным страхом остаться без пищи висит воспоминание о голоде над бывшим заключенным. Нависало оно и над самим Шаламовым, как бы подтверждая рассказанное им.

Не просто голод или холод, непосильнй труд или побои, но физические последствия этих экстремальных состояний, то, что можно назвать физиологией, — вот что становится сквозным сюжетом шаламовских рассказов.

Физиология медленного умирания или физиология столь же медленного восстановления, со знаком минус или со знаком плюс, она — мука человека, его боль; в ней человек — тоже как в тюрьме, из которой не выбраться, разве только что после смерти.

Натуралистичность многих описаний в рассказах Шаламова как бы подчеркивает эту непреодолимую зависимость человека.

«Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал понемногу черепаховый панцирь, в который превратилась на прииске человеческая кожа; ярко-розовые кончики отмороженных пальцев темнели...» — читаем в «Тифозном карантине».

В такой натуралистичности нет преднамеренного эпатажа, стремления ошеломить читателя. Страдание плоти, от которой не отделен дух человеческий, — удел заключенного. И Шаламов уделяет физиологии столько же внимания, сколько места она занимала в жизни зека.

В рассказе «Сентенция» подробно описан процесс воскресения «доходяги» — от почти полного бесчувствия, от сумерек помертвевшего сознания, от единственного, на что он только и был еще способен, — от злобы, — к жизни.

Сначала герой начинает различать ночные звуки в бараке — храп, хрипы, стоны, то есть становится меньше потребность в забытье. Потом появляется боль в мышцах и равнодушие бесстрашия. Затем — страх лишиться жизни, зависть к окружающим, еще позже жалость к животным — раньше, чем к людям...

Но окончательным свидетельством его возвращения к жизни оказывается слово «сентенция», неведомо как и почему возникшее в истощенном мозгу рассказчика, странное и неуместное в тайге.

«Сентенция! — орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова».

Это слово — уже не просто возвращение к жизни. Оно — вочеловечение ("В начале было Слово..."). Его рождение — чудо, потому что в опустошенной душе нет для него места. Слово перестает быть необходимостью, как и вообще культура. Не случайно книги, которые герой рассказа «Домино» видит у врача лагерной больницы, кажутся ему «чужими, недружелюбными, ненужными».

Лишенный нормальных условий, человек и природу начинает воспринимать как нечто чуждое, враждебное. Она может быть прекрасна, но в ее красоте нет благодати, напротив, только — тягота и угроза.

В рассказах Шаламова человек не может раствориться в природе или принять ее в себя, почувствовать свое единство с ней — для этого тоже нужны душевные силы, нужна неповрежденная душа.

Это не значит, что природа закрыта для самого писателя. Напротив, Шаламов умеет очень тонко почувствовать ее — как бы изнутри, как живого свидетеля человеческой муки. Унижение человека, насилие над ним, страдание его — это и ее боль, ее рана, ее тягота, какой бы отчужденной, сторонней она ни казалась.

Особенно ярко эта тема звучит в поэзии Шаламова, о которой мы еще будем говорить, но ее можно услышать и в таких рассказах, как «Стланик», «Тропа», «Воскрешение лиственницы», близких по жанру к стихотворению в прозе, где автор дает волю лиризму.

Появляется она и в других рассказах, менее педалированная, но не менее важная для шаламовской художественной философии. В рассказе «Выходной день» повествование начинается с описания двух белок «небесного цвета, черномордых, чернохвостых», которые «увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами».

Взгляд рассказчика, следуя за взглядами белок, на мгновение как бы сливается с ними, вместе с тем фиксируя их красоту, их вольное, независимое существование. Мир раздвигается благодаря этому неожиданному ракурсу, и все, что мы видим дальше, — и молящийся в лесу священник Замятин, и потом убивающие щенка овчарки блатари, которые варят из него суп, — все это контрастно высвечивается каким-то особенно пронзительным светом.

Мы словно ощущаем боль самой природы, внутри которой происходит распад человеческого, так же как и борьба человека за самого себя.

ШКОЛА ЗЛА

«Лагерь же — мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве социальном и духовном, — писал Шаламов. — Лагерные идеи только повторяют переданные по приказу начальства идеи воли. Ни одно общественное движение, кампания, малейший поворот на воле не остаются без немедленного отражения, следа в лагере. Лагерь отражает не только борьбу политических клик, сменяющих друг друга у власти, но культуру этих людей, их тайные стремления, вкусы, привычки, подавленные желания».

Идея мироподобия лагеря — идея не только нравственно-психологическая, но и социально-политическая. Подчеркнуть ее нужно еще и потому, что Шаламов в своей прозе избегает прямых политических обобщений, в отличие, скажем, от Солженицына, который в «Архипелаге ГУЛАГ» с первых же страниц яростно атакует и обличает основанный на насилии и произволе власти режим, с нескрываемым гневом критикует систему, так что повествование здесь имеет ярко выраженный публицистический характер.

Но и для В.Шаламова каждый из его рассказов — «пощечина», приговор режиму. Всем художественным строем, самим материалом рассказа, воплотившим внутренний жест писателя.

Смещение понятий добра и зла, их деформация начинались не в лагере. Лагерь лишь продолжение этого социально-нравственного и психологического процесса, стимулируемого системой. Раз лагерь подобен воле, то верно и обратное, — воля, общество подобны лагерю.

В «Колымских рассказах» Шаламов точно нащупывает общие болевые точки, звенья одной цепи — процесса расчеловечивания. Потянув за одно звено, он вытаскивает на свет всю цепь.

К примеру, медицина.

Именно в этой сфере, изначально призванной быть службой милосердия, смещение понятий дает себя знать особенно наглядно.

В «Моем процессе» В. Шаламов рассказывает о некоем докторе Мохначе, заведующем лабораторией зоны, который, прекрасно зная о реальном состоянии заключенного, лжесвидетельствует о его здоровье и отказывается освободить от работы.

Или в рассказе «Шоковая терапия» врач Петр Иванович старательно и методично прикладывает все усилия и медицинские познания, чтобы разоблачить симулирующего травму позвоночника зека Мерзлякова.

Казалось бы, зачем это ему, совсем недавно тоже еще зеку? Ведь можно бы и не проявлять столь рьяное и, в сущности, жестокое, безжалостное усердие, обрекая тем самым Мерзлякова на неминуемую гибель.

Но нет, ему приятно лишний раз удостовериться в собственной профессиональной квалификации, продемонстрировать ее другим. Он — специалист, но — человек ли? Ему абсолютно нет никакого дела, что будет дальше с этим Мерзляковым, которому предстоит вернуться на прииск, где даже самый сильный, по свидетельству писателя, «доходит» в течение двух недель.

Но в лагере медицина была не только службой милосердия. Она была властью. Не такой, конечно, как власть начальника, следователя и прочих, но все-таки властью, то есть имела возможность распоряжаться судьбой заключенных.

Писатель показывает, как зависит зек от того или иного решения врача. Уже было сказано, что на колымских приисках заключенный «доходил» в две недели, и не было у него другой надежды на спасение — только больница, где можно было бы хоть немного отлежаться и прийти в себя.

Не случайно блатные всячески пытались задобрить или запугать врача, чтобы получить место на больничной койке. И им это чаще всего удавалось. Об этом Шаламов подробно пишет в рассказе «Красный крест».

По сути, врач — единственное лицо в системе лагерной власти, кто может защитить заключенного от «произвола начальства, от чрезмерной ретивости ветеранов лагерной службы». Если, конечно, сам не становится на сторону силы, как тот же Мохнач или доктор Ямпольский из одноименного рассказа.

В «Колымских рассказах» множество эпизодов и сюжетов из больничной жизни или просто связанных с врачами, с другим медперсоналом. Писатель понимает, что именно здесь растление обнаруживается особенно явно, так как власть встречается с душой,

профессиональным долгом своим призванной к милосердию, к помощи человеку — любому.

В рассказе «Вечная мерзлота» повествуется о вступлении автора в фельдшерскую должность: теперь он возглавляет целый участок, теперь он сам, недавно еще бывший бесправным зеком, начальник.

Новоназначенный фельдшер тут же решает навести на участке порядок: кого-то распечь, кого-то приструнить, а кого-то за ненадобностью отправить на общие работы. Так он решает поступить с заключенным Леоновым, который мыл полы у прежнего фельдшера. Он объявляет ему, что не нуждается в его услугах. В ответ же слышит почти мольбу не делать этого. Он, Леонов, боится забоя, боится бригады, общих работ; если его отправят, он погибнет!

Однако фельдшер тверд, потому что уверен в своей правоте, в справедливости своего решения: в самом деле, почему для этого Леонова нужно делать исключение?

А чуть позже ему сообщают, что Леонов повесился в конюшне.

«Я понял внезапно, что мне поздно учиться и медицине и жизни» — такова финальная фраза.

Острие рассказа как бы повернуто внутрь, к самому автору, невольно ставшему причиной гибели другого человека. Это — суд над самим собой.

Глубоко символично и название рассказа «Вечная мерзлота». Речь идет не только о той мерзлоте, куда зарывают покойника, но и той, которая проникает в душу человека, омертвляет ее, сжимающуюся подобно шагреневой коже.

По мысли Шаламова, власть — это особая форма растления души, которой редко удается воспротивиться. «Власть — это растление, — формулирует писатель, — спущенный с цепи зверь, скрытый в душе человека, ищет жадного удовлетворения своей извечной человеческой сути в побоях, убийствах».

То, что «в миру» могло быть не очень заметно, то в лагере — в силу безнаказанности власть имущих — проявляется особенно резко. Унижения, издевательства, избиения, насилие — это, так сказать, общее место лагерной действительности, многократно описанное Шаламовым.

В рассказе «Серафим» герой, «вольняшка», завербовавшийся на Север после ссоры с женой, кончает жизнь самоубийством. Он не может и не хочет больше жить после того, как, принятый за беглого зека, подвергся избиениям и издевательствам. Ранее сторонив-

шийся заключенных, как если бы это были прокаженные, он спрашивает после этого случая у инженера-зека, работающего вместе с ним в одной лаборатории: «Как же вы? Как же вы живете?»

Красавица Екатерина Гловацкая из рассказа «Аневризма аорты» гибнет только потому, что начальник больницы подозревает в рапорте врача о тяжелом состоянии ее здоровья попытку любовника освободить ее от общих работ.

Но и врач Зайцев, честно информирующий начальство о болезни Гловацкой, в первый момент готов использовать свою власть над красавицей пациенткой — для собственного удовольствия, и только ее состояние удерживает его.

Шаламов показывает, как «страшная штука» власть развращает человека, развязывает в нем самые низменные инстинкты, превращает в насильника и подлеца.

Но даже и поощрения в лагере писатель считает растлением, поскольку вся система взаимодействия между людьми в лагере, между начальниками и подчиненными, основана на лжи, на пробуждении в человеке самого худшего. Так что тот, кто еще вчера был заключенным, сегодня готов бить или стрелять сам.

Еще один страшный, уродливый лик власти, расцветающей именно на лагерной зараженной почве, — блатари, уголовники самых разных мастей. Их нежелание считаться ни с кем, кроме себя, их легкость на расправу и полное равнодушие к чужой жизни, которая для них ничего не стоит, — все это ставит их в особое привилегированное положение — господства над прочими заключенными.

К тому же и государство, высоконаучно определив уголовников как «социально близких», всячески поощряло их внутрилагерный террор, обнаруживая тем самым и свое сродство с ними.

Цикл рассказов, где Шаламов суммирует свои наблюдения над уголовниками, их нравами, обычаями, взаимоотношениями между собой и с другими заключенными, писатель так и назвал — «Очерки преступного мира».

Можно сказать, что и здесь он тоже являлся первопроходцем, первооткрывателем этого особого мира за колючей проволокой. Автор «Очерков...» упрекает Достоевского, что тот в «Записках из Мертвого дома» не показал подлинного страшного лица «настоящих блатарей», Шаламов даже выдвигает предположение, что Достоевский на своей каторге их просто не встречал, а «каторжные герои «Записок из Мертвого дома» такие же случайные в преступ-

лении люди, как и сам Александр Петрович Горянчиков». «А если бы встретил, мы лишились, может быть, лучших страниц этой книги — утверждения веры в человека, утверждения доброго начала, заложенного в людской природе».

Шаламов обвиняет художественную литературу за то, что она либо уклонялась от действительно правдивого изображения «уркаганов», либо даже, поддавшись спросу на уголовную романтику, идеализировала их, как, например, И.Бабель в «Бене Крике», Л.Леонов в романе «Вор» или Н.Погодин в известной пьесе «Аристократы», где он воспевал так называемую перековку, то есть перевоспитание блатарей.

В рассказе «На представку» В.Шаламов изображает карточную игру уголовников. Когда один из них окончательно проигрывается, то велит снять свитер случайно оказавшемуся поблизости заключенному. Тот отказывается, его тут же убивают, и свитер все равно переходит в руки блатаря.

Писатель твердо, со свойственными ему максимализмом и категоричностью заявляет: настоящие блатари — не люди, в них не осталось ничего человеческого, все выжжено, искажено воровскими законами. Они — воплощение зла.

«Подземное уголовное царство — мир, где целью ставится жадное удовлетворение низменнейших страстей, где интересы — скотские, хуже скотских, ибо любой зверь испугался б тех поступков, на которые с легкостью идут блатари».

Ни одного снисходительного слова, тем более оправдания не находит В.Шаламов для блатарей. Жертва общества, системы или несчастного стечения обстоятельств? Это не принимается во внимание писателем. Больше того, он говорит о необходимости уничтожения «урок», потому что, по его мнению, исправить их невозможно, зато воровской мир неудержимо притягивает и втягивает в себя слабые души, соблазняет их уголовной «романтикой», мнимой таинственностью, разгульностью и вседозволенностью.

Мироподобие лагеря выражалось и в том, что не только какие-нибудь крупные начальники вроде Жукова, Гаранина, Павлова приносили сюда «вывернутое дно своей души», но и те, кто стоял у самого кормила верховной власти. В сущности Сталин и клика его соратников были такими же «паханами», как какой-нибудь Миша Булычев, только их нравственная вседозволенность обретала иные масштабы, распространялась на всю страну, направляла государственную машину уничтожения.

ПРИГОВОР РАБСКОМУ ТРУДУ

Анализируя изображение лагеря в прозе В.Шаламова, нельзя не выделить еще одну его важнейшую грань, которую всячески старался подчеркнуть писатель. Этой гранью лагерь опять же тесно смыкался с «миром» — так же лицемерно, бесчестно и кроваво.

Из рассказа в рассказ писатель поминает, что над воротами почти каждого лагеря бывал вывешен знаменитый сталинский лозунг — «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Но что это был на самом деле за труд?

Еще Достоевский в «Записках из Мертвого дома» писал, что тягость и каторжность работы арестанта — не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки.

Именно такой, принудительный, подневольный, рабский по сути своей труд Шаламов ненавидел до глубины души.

Кажется, можно увидеть своего рода поэзию в том, как описывает Шаламов в рассказе «Артист лопаты» работу своего героя Криста, его «забойную симфонию». Крист поистине мастер этого дела — как старательно и искусно подгоняет он под себя лопату, как визжит загоняемая в грунт сталь штыка, как сползает с него камень и падает на дно тачки. Так слаженно, ловко, артистично, почти красиво у Криста выходит, что впору залюбоваться.

Однако за этим артистизмом — только инстинкт выживания, инстинкт самосохранения. Силы у Криста все равно нет, нормы ему не выработать.

Да и что это за норма! С педантичной точностью писатель приводит цифры. Согласно «Запискам Марии Волконской», норма для декабристов в Нерчинске была три пуда руды, для каторжан же советского призыва — примерно восемьсот пудов. Разница — впечатляющая!

Эту норму зека заставляли выдавать всеми правдами и неправдами, а тем, кто не в силах был справиться, грозил голод, побои других членов бригады, недовольных, что из-за какого-то доходяги они не могут дать процент, обвинение в саботаже, новый срок, а то и расстрел.

Труд становится для заключенного мукой, физической и душевной. Он внушает ему только страх и ненависть. Освобождение

от труда — любыми путями и средствами, вплоть до членовредительства — становится самой желанной целью, так как сулит избавление от непомерных страданий, от гибели.

«Колымские рассказы» — обличение, гневное до прямой ярости, выплескивающейся на страницы, и отрицание лагерного рабского труда, ставящего все нравственные ценности с ног на голову.

Рабский труд формировал и рабью психологию. Он не мог быть честным. Как говорит один из героев рассказа «Сухим пайком», «к честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты — до самой смерти. Это выгодно им — этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы».

В 1962 году в журнале «Новый мир» была опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича» тогда еще малоизвестного А.Солженицына, сразу сделавшая его знаменитым: в ней была правда о лагерях, до тех пор лишь микроскопическими дозами проникавшая на страницы печати.

Привлекал и ее герой — по-крестьянски терпеливый, неприведливый, трудолюбивый, не гнушающийся никакой работы. В ней Иван Денисович находил успокоение, не отлынивая и не ища местечка потеплее.

Критики уловили некоторый поэтический ореол вокруг труда героя повести, несмотря на то что труд этот был подневолен и по-лагерному тяжел. Особой радости он у Ивана Денисовича не вызывает, но и ненависти тоже.

Ю.Карякин, размышляя о повести, писал: «Все дело для него не просто в том, чтобы выжить, а в том, как и для чего выжить. Он выживает не за счет других, а в труде и для труда.

Идут «зэки» из лагеря на работу, «как на похороны». Идут обратно — тот же мотив: «как на похороны». Но даже тяжелый труд для большинства из них — это как воскрешение».

Шаламов высоко ценил повесть, хотя и высказал в письме Солженицыну ряд замечаний и уточнений. Но с чем он не соглашался и готов был спорить, так это с трактовкой в духе вышеприведенной. В ней он видел «героизацию принудительного труда» и как бы защищал от нее повесть.

Его позиция была непреклонна: «в лизанье лагерной палки ничего, кроме глубочайшего унижения, для человека нет».

ТЕРПЕНИЕ И СЛУЧАЙ

«Как и на воле, — писал В.Шаламов, — жизнь заключенного состоит из приливов и отливов удачи — только в своей лагерной форме, не менее кровавой и не менее ослепительной»

«Удача», «случай» — ключевые понятия в прозе В Шаламова Игра случая — удел заключенного, зависящего от самых разных сил как внешних, так и внутренних, действие которых можно предугадать, а можно и не предугадать, но в них нет, как полагает писатель, жесткой закономерности, предопределенности

Автор «Колымских рассказов» говорит о фатализме заключенных, о невмешательстве в волю богов как кодексе лагерного поведения. «Терпение и случай — вот что спасало и спасает нас Два кита, на которых стоит арестантский мир»

Судьба для Шаламова часто равносильна, равнозначна случаю счастливому или несчастному стечению обстоятельств И слова «высшие силы» применительно к судьбе заключенных употребляются им с иронией: за ними лагерное и не-лагерное начальство чья-то тупая исполнительность, равнодушие или напротив, мстительность, недоброжелательство, за ними — козни, интриги страстишки и еще бог весть что, способное влиять на судьбу узника

Игра случая занимает очень большое место в рассказах Шаламова, становится сюжетной основой многих из них

Выжить, уцелеть — вот главная цель заключенного, и потому он особенно пристально всматривается в негаданно возникающие просветы, пытается воспользоваться неожиданными возможностями, использовать случай в своих интересах

В рассказе «Тифозный карантин» писатель изображает именно такой поединок с судьбой, с обстоятельствами, случаем Герой его, Андреев, попадает с золотого прииска в тифозный карантин, избежав тем самым неминуемой гибели. Но после окончания карантина прииск снова грозит ему, и тогда он решает сделать все возможное, приложить все усилия, весь свой немалый опыт, всю свою хитрость, чтобы избежать новой отправки туда Андреев почти уверен, что ему удастся победить.

И действительно, ему удается протянуть на пересылке чуть ли не три месяца, восстанавливая силы и ускользая от каждого очередного этапа. Он не откликается на перекличках, прячется и терпеливо ждет, когда же наконец закончится набор заключенных на прииски, тем более что пересылка почти опустела

Но в тот момент, когда ему уже кажется, что все, он спасен, их, оставшихся на пересылке, собирают, сажают в машину и отправляют... в тайгу, куда он так не хотел. Не миновала его чаша сия, несмотря на все его хитрости.

Однако попытки воспротивиться судьбе не всегда, как показывает писатель, безрезультатны. Бывает, что и расчет верен, и обстоятельства складываются благоприятно, как в рассказе «Облава».

Крист, санитар из заключенных, уходит во время облавы из больницы в тайгу. Его план прост: если его хватятся, то за ним снова специально пришлют машину, если же нет, то он останется при больнице еще некоторое время, а значит, получит лишний шанс выжить. И ему, в отличие от Андреева, это удается.

Впрочем, человек может не принимать никакого участия, не ведать, не понимать, что происходит, а лишь терпеть и ждать. В рассказе «Заговор юристов» героя везут в Магадан и помещают в тюрьму. Позже он узнает, что ему предстояло пройти следствие по придуманному неким капитаном Ребровым «заговору юристов», направленному против председателя Далькрайсуда Виноградова. По этому же делу из разных лагерей выдергивают и везут в Магадан заключенных-юристов. И также внезапно все возвращается на круги своя: их освобождают, а сажают капитана Реброва.

Объясняется же все достаточно просто: председатель Далькрайсуда, под которого «копал» следователь Ребров, оказался сильней.

Случай властвует над судьбой заключенного, вторгается в его жизнь благоприятной или, чаще, злой волей. Это может быть случай-спаситель или случай-убийца, но в нем нет никакой изначально данной телеологии, как нет ее, по мысли Шаламова, и в судьбе любого конкретного человека. Как нет ее — и в жизни.

«Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время».

Печальный честный итог.

Однако Шаламов высоко ценил таких людей, кто был способен вмешаться в ход обстоятельств, постоять за себя, пусть даже рискуя жизнью. Таких, «кто не шнур динамитный, а взрыв», как сказано в одном из его стихотворений.

Что писатель мог высоко оценить героический порыв к свободе, «взрывное» в человеке, об этом говорит один из лучших рассказов — «Последний бой майора Пугачева».

По свидетельству автора, после войны в северо-восточные лагеря стали прибывать заключенные, прошедшие войну и вражеский

плен. Это были люди иной закалки, «со смелостью, умением рисковать, верившие только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...».

Но главное, эти люди обладали инстинктом свободы, который в них пробудила война. Защищая отечество, они проливали свою кровь, жертвовали жизнью, видели смерть лицом к лицу. Они не были развращены лагерным рабством и не были еще истощены до потери сил и воли.

«Вина» же их состояла в том, что они побывали в окружении или в плену. И герою рассказа, майору Пугачеву, одному из тех, еще не сломленных людей, ясно: «их привезли на смерть — сменить вот этих живых мертвецов», которых они встретили в советских лагерях.

Тогда он собирает столь же решительных и сильных, себе под стать, заключенных, готовых либо умереть, либо стать свободными. Которые поняли, что им терять нечего. В их группе — летчики, разведчик, фельдшер, танкист. Они поняли, что их обрекли на гибель безвинно, и силой пытаются вырваться на свободу.

И будет последний бой с окружившими их войсками. Будет последняя пуля, которую майор Пугачев оставил для себя самого.

Как обычно сухо, лаконично ведет повествование Шаламов. Строгая графичность его рассказа, казалось бы, не предназначена для выплеска эмоций, для лирики. Но сколько тепла и сочувствия, сколько сердечной признательности вложено в последние размышления майора о погибших товарищах. Они звучат как реквием и в то же время как гимн свободе.

«Но лучше всех, достойнее всех были одиннадцать его умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни».

В этих строках отчетливо слышен и голос самого писателя.

Шаламов доносит до нас правду этой борьбы, этого отчаянного призыва к свободе. Правду человека, который вместо слепой жертвенности и покорности несправедливой участи избрал бунт. Правду, которая до последнего времени оставалась вне закона, как будто человек только затем и родится, чтобы унавозить почву истории.

Читаешь рассказ, невольно сопереживая вместе с автором майору Пугачеву и его товарищам, вступившим в вооруженную борь-

бу. Но тут же думаешь о том, что за их порыв к свободе, не только оправданный, но и делающий им честь, своими жизнями заплатили в общем-то безвинные люди — конвойные, солдаты...

Эти солдаты для заключенных — враги, поскольку отождествляются с властью, так жестоко и несправедливо с ними обошедшейся. Но на самом деле, если вдуматься, они такие же узники режима, даже если и не отдают себе в этом отчета.

В том-то и заключается глубинный драматизм рассказа, что правда героев, правда инстинкта свободы окрашивается в кровавые тона. За ней трагедия страны, трагедия народа, собственными руками уничтожавшего себя самого, становившегося одновременно палачом и жертвой.

Таких рассказов, как «Последний бой майора Пугачева», где изображается несломленный человек, у Шаламова крайне мало. Он высоко ставит силу человеческого духа, способность к самопожертвованию, любые проявления достоинства и просто человеческого участия, но его опыт о человеке, вынесенный с Колымы и выразившийся в рассказах, скорее пессимистичен: человек подвержен растлению, дух его зависим от тела, мало кто способен устоять, на дне каждого скрыт «подлец и трус».

В письме Солженицыну он заявлял, что «желание обязательно изобразить «устоявших» — это тоже вид растления духовного».

Это, пожалуй, был главный пункт расхождения Шаламова и автора «Архипелага ГУЛАГ». Отстаивая гуманистическую веру в человека, завещанную классикой минувшего столетия, Солженицын спорил в своем художественном исследовании с Шаламовым, доказывал на известных ему примерах конкретных людей, что человек заслуживает большего уважения, что многие все-таки выстаивали, находили в себе силы для сопротивления «зубьям зла».

«Так не вернее ли будет сказать, — возражает Солженицын во втором томе »Архипелага" Шаламову, — что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом... дрына?»

Надо полагать, что и вера Солженицына в человека сквозь горнило страдания прошла. Правда, он признавал, что Колыма как «полюс лютости» — это особое испытание, и здесь он полностью доверял свидетельствам Шаламова. Личность самого автора «Колымских рассказов» и его стихи служили для Солженицына под-

тверждением его точки зрения, укрепляли в возвышающей человека убежденности.

Существенно и другое: неугасшая вера Шаламова в человека тем не менее звучит в его вопрошании и духовно более значительна, нежели его горький, безысходный ответ.

Не случайно именно В.Шаламову принадлежат известные поэтические строки:

Должны же быть такие люди,
Кому мы верим каждый миг,
Должны же быть живые Будды,
Не только персонажи книг.

«СТИХИ — ЭТО БОЛЬ, И ЗАЩИТА ОТ БОЛИ...»

Не случайно, наверно, и то, что жажда веры в человека сильнее выразилась в поэзии Шаламова, нежели в его прозе, жестко поставленной под контроль реальности. Само поэтическое чувство как бы подразумевает, включает в себя веру в некий высший порядок, в целесообразность мироустройства и причастность к нему человека. Оно мифологично в глубинной своей сущности.

Что помогало Шаламову в его жизненной борьбе, так это поэзия. «Стихи — это боль, и защита от боли...» — его строчка.

В рассказе «Афинские ночи», анализируя проявления первейших естественных потребностей человека в лагере (по формуле Т.Мора: голод, половое чувство, мочеиспускание, дефекация), В.Шаламов добавляет к ним еще одну, пятую потребность — в стихах.

Преувеличение? Возможно.

Но для самого писателя, вероятно, так оно в значительной мере и было. Например, его знакомство с фельдшером Борисом Лесняком в больнице «Беличья» началось с того, что Шаламов поинтересовался, как тот относится к стихам.

Люди, небезразличные к культуре, угадали друг друга, сблизились благодаря поэзии, достучались друг до друга сквозь невидимые, но чрезвычайно толстые и прочные перегородки лагерной отчужденности.

Шаламов поведал об этом в рассказе «Перчатка». Запечатлен этот эпизод и в воспоминаниях Б.Лесняка. В его архиве хранится небольшой самодельный альбом, куда аккуратным, четким, красивым почерком Шаламов по памяти вписывал для главврача Нины Савоевой любимые стихи поэтов.

Интересно, что стихи свои Шаламов ставил выше прозы, хотя и считал, что границы прозы и поэзии, особенно в душе автора, очень приблизительны. Он много размышлял о поэзии, о ее слагаемых, писал о ней, о том, как он работает над стихотворением

«Поэзия — это прежде всего судьба, итог длительного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления — тот огонь который высекается при встрече с самыми крепкими самыми глубинными породами Поэзия — это и опыт, личный, личнейший опыт, и найденный путь утверждения этого опыта — непреодолимая потребность высказать, фиксировать что-то важное, быть может, важное только для себя»

Многое из написанного в лагерях невозможно было сохранить

Колымский опыт, пережитое за многолетние скитания по разным кругам ада пронизывают лирику В Шаламова, продолжающую традицию русской философской лирики с ее размышлениями о мире, природе и человеке. Они присутствуют — нюансом чувства, нервным сбивом, пронзительной ассоциацией — даже в самых. казалось бы, гармонических его стихах Поэт и сам отдает себе в этом отчет

От симфоний этих снежных
Просвистевших уши мне
Никогда не буду нежным
Не доверюсь тишине

В рассказах Шаламова взгляд автора предельно резок и жесток, граничит с ожесточенностью, в них почти нет места свободному и спокойному созерцанию, теплому чувству Если даже взор человека здесь и обращается к небу, то как бы не видит его Куда чаще он притягивается к земле, цепляется к мельчайшим подробностям, словно в поисках случайной крошки съестного Слово здесь сухо, повествование предельно собранно, спрессованно, подобно взрывчатке

Но и стихи Шаламова тоже могут показаться суховатыми, замкнутыми, даже малоэмоциональными, словно их четкая размерен-

ность, строгая ритмика легла необоримой плотиной на пути лирического вольного потока.

Один из ключевых для шаламовской поэзии мотивов — столкновение двух стихий: льда, холода, небытия и, с другой стороны, тепла, огня, жизни.

Даже в стихотворении «Детское», где в самом поэтическом строе есть легкость детской песенки:

Поднесу я к речке свечку—
И растает лед.

Образ льда — как бы овеществившаяся стихия холода и небытия — появляется не только в стихах В.Шаламова о природе. Отголоски другого — холодного, ветреного, подземного мира слышны и в обжитом, теплом мире культуры, тревожно-хрупком, как хрустальный бокал, причастный самым тайным человеческим движениям ("то учащенное дыханье, то неуверенность руки").

О нем, о хрустальном бокале сказано:

И будто эхо подземелий
Звучит в очищенном стекле,
И будто гул лесной метели
На нашем праздничном столе.

Лед у Шаламова — это не только холод, но и застылость, заслон, тюрьма, сковывающие порыв, движение, свободу. Ручей задыхается, сжатый ледяной лапой, «бурлит в гранитной яме, преодолевая лед».

В одном из критических откликов на стихи Шаламова был отмечен его поэтический антропоморфизм: поэт заставляет природу самовыражаться, а сам как бы устраняется.

Так ли это?

Да, природа у Шаламова живет и действует сама по себе и из себя. Мы словно видим ее изнутри, причастившись ее сокровенной жизни. С помощью поэта-толмача мы понимаем ее язык, который есть и у ручья, и у дерева, и у камня. Это одушевление, очеловечение природы вообще присуще русской поэзии, особенно ярко проявившись в двадцатом столетии у Н.Заболоцкого, Б.Пастернака, чьи традиции развивал В.Шаламов.

Однако у автора «Колымских тетрадей» мы имеем дело не просто с перенесением человеческих свойств на природу, не просто с ее очеловечением. Это не только поэтическое сближение двух миров, но их взаимопроникновение, их редкостная слитность, когда одно просвечивает сквозь другое.

Читая о ручье и его утратах или о срубленных соснах, живущих в свой смертельный час «лишь мечтой быть мачтой корабельной, чтобы вновь коснуться облаков», мы читаем о человеке и его утратах, о его мечте, не отдаленных от нас своим природным «инобытием», но, напротив, очень близких, глубже и сущностнее раскрывающихся в образе.

В природе у Шаламова вдруг обозначается то, что, казалось бы, свойственно только человеку, — судьба, порыв, нерв, судорога. Ее собственная борьба.

Не случайно один из самых любимых образов поэта — колымский стланик, которому он посвятил стихотворение и рассказ, единственный при его жизни напечатанный на родине. Стланик — вечнозеленое хвойное дерево, растущее на севере, неприхотливое и в то же время чрезвычайно чувствительное. Реагируя на холод, на приближение зимы, он приникает, прижимается к земле, словно погружаясь в зимнюю спячку, но, едва почуяв тепло — костра ли, весны ли, он поднимается и стряхивает с себя снег.

И черные, грязные руки
Он к небу протянет — туда,
Где не было горя и муки,
Мертвящего грозного льда.

Здесь есть чувство единой судьбы, единой участи — природы и человека, чувство, во многом определяющее отношение Шаламова к природе в его поэзии.

Вместе с тем природа в стихах Шаламова, как и в рассказах, часто предстает «ландшафтами грозными», где «тучи пепельные вяжут и опоясывают лес», где «скелеты чудищ допотопных, шестисотлетних тополей, стоят толпой скалоподобной, костей обветренных белей» и где «горный кряж, что под ногами, могильной кажется плитой».

Этот круг кладбищенских ассоциаций, мотивы жестокости и несвободы, связанные с суровостью природы, у читавшего рассказы Шаламова и знающего его судьбу вряд ли вызовут удивление.

Природа, обрекающая на гибель, для узника, отданного ей во власть, — неотъемлемая часть «девятого круга ада». Да и само понятие Колымы давно перестало быть чисто географическим: Колыма — это колючая проволока, непосильный каторжный труд и вечная мерзлота...

Но это вовсе не значит, что Шаламов не знает гармонического слияния с природой, радостного и просветленного, чувственного и духовного одновременно. Так, в стихотворении «Июль» — светлом, сочном, словно звенящем летним полуденным зноем, мы находим редкостный для поэта хмель жизненной полноты. Земля здесь прижалась к герою и готова передать ему «все, что в душе у ней осталось, всю нерастраченную малость, всю неземную благодать».

Льду, холоду в поэзии Шаламова противопоставлен огонь. Именно его поэт делает своим знаком, знаком души:

Огонь, а не окаменелость
В рисунке моего герба.

И судьбу свою он тоже называет «горящей», которую «и годы не остудят, и не остудят горы льда».

В отечественном прошлом ему близки именно «горящие», мученические, мятежные судьбы — казненных Петром стрельцов, суриковской боярыни Морозовой, протопопа Аввакума. Их неукротимый дух, их жертвенность и несмиренность вызывают в поэте горячий отклик:

Так вот и рождаются святые —
Ненавидя жарче, чем любя,
Ледяные волосы седые
Пальцами сухими теребя.

Огонь — это порыв, жар страсти, но это и густота, вязкость, домашность жизни с ее простым земным бытом, это огонь очага, тепло плоти. Это та «малость», которая равносильна «неземной благодати». В.Шаламов тем более умел ценить и тепло, и изобилие, что ему, прошедшему через вечную мерзлоту, то и дело мерещится сквозь плоть земных даров бытия смертный остов оскудения, «обрезки и осколки» жизни, которые он и пытается собрать, «сбить в один тяжелый ком».

Это ощущается даже в ритмической поступи стиха у поэта. Иногда его стих жестко структурен, холодно угловат, легковесен, бледен, словно только что поднявшийся с постели больной, а иногда, напротив, увесист, кряжист, наполнен тяжелой силой.

Поэзия для автора «Колымских тетрадей» — не только устремленность ввысь, но и обретение миром плоти, наращивание мускулов, поиск совершенства. В ней отчетливо ощутимо усилие воссоединения, воля к цельности жизни.

Такая воля и в поэзии Пастернака. Но Шаламов как бы придвинут ближе — опытом, судьбой — к краю, к гибели. К тому «многому другому, о чем нет слов» и что — «грозное», «нагое» — щемит душу.

В его стихах нет прочной, нетленной красоты. Даже там, где она вроде бы появляется и готова утвердиться, восторжествовать, сразу возникает что-то, что мешает ей, подобно тому как ветер стряхивает снежный наряд с еловых лап.

Разве не красота мерещится в первых строчках стихотворения «Черский»:

Голый лес насквозь просвечен
Светом цвета янтаря?

Но тут же, словно наперехват им, возникают иные, в иной тональности:

Искалечен, изувечен
Жестким солнцем января.

Воссоединение «обрезков и осколков» жизни для Шаламова означает одновременно и одомашнивание, обживание мира. Не случайно в его стихах живет острейшая, неудовлетворенная потребность в теплом очаге, в крыше, в доме:

Я хочу, чтоб средь метели
В черной буре снеговой,
Точно угли, окна тлели,
Окна дальние горели
Ясной вехой путевой.
В очаге бы том всегдашнем
Жили пламени цветы

И чтоб теплый и нестрашный
Тихо зверь дышал домашний
Средь домашней теплоты.

В ряде стихотворений таким домом становится для поэта город, Москва, чей «гул и грохот, весь городской прибой велением эпохи сплетен с моей судьбой». Даже «резины и бензина» он чувствует «блаженство и уют» — настолько важно для него ощущение обжитости пространства, пронизанность его человечески-рукотворным началом, «теплом людского излученья».

К теме обживания мира сходится большинство мотивов поэзии Шаламова.

Обживание для него — это прежде всего творчество, творчество в самом широком смысле, будь то стихи, строительство дома или выпечка хлеба.

В творчестве поэт обретает не только радость преодоления и чувство собственной силы, но и чувство единства с природой. Он ощущает себя ее сотворцом, чье мастерство вносит свою лепту в почти чудесное преображение мира. Поэзия, песня — тоже голос природы, равный среди других ее голосов, звучащий «в едином хоре зверей, растений, облаков».

Больше того, поэзия была для Шаламова связью с бесконечным миром. Она помогала ему сохранить веру в его осмысленность и высшую одухотворенность, поддерживала переживанием связи с универсумом, с высшим началом, которое могло быть явлено в самых обычных земных вещах и явлениях. Не случайно родственное себе находил он в поэзии бывших акмеистов — Мандельштама и Ахматовой.

Можно сказать, что само переживание слова, как описывает его Шаламов, например, в рассказе «Сентенция» или в одном из эссе, посвященных поэзии, для него почти мистериально, литургийно, особенно если это слово — поэтическое: «И ты шепчешь это слово, как молитву...»

В эссе «Поэзия — всеобщий язык» он пишет: «Смотря на себя как на инструмент познания мира, как совершенный из совершенных приборов, я прожил свою жизнь, целиком доверяя личному ощущению, лишь бы это ощущение захватило тебя целиком. Что бы ты в этот момент ни сказал — тут не будет ошибки.

Так и пишутся мои стихи — всегда многосмысленные, аллегоричные и в то же время наполненные безусловной и точной, не за-

мечаемой никем другим реальностью, из бесконечного мира, еще не познанного, не открытого, не прочувствованного».

Поэзия для Шаламова — важнейший, может быть, даже наиболее органичный способ познания мира, обнаруживающий закрытые для обыденного зрения реальности, раздвигающий и вместе с тем приближающий горизонт бытия. Она — озарение, чудо, вдохновение.

«Стихи — это особый мир, где чувства и мысль, форма и содержание рождаются одновременно под напором чего-то третьего и вовсе не названного ни в словаре политики, ни в катехизисе нравственности. Все начала вместе рождаются и вместе растут, обгоняя друг друга, уступая друг другу дорогу, и создают необыкновенно важную для поэта художественную ткань».

«Эта художественная ткань — не чудо, — продолжает писатель. — В ней есть свои законы, которые строго действуют в мире тридцати трех букв русского алфавита, способных передать не только частушку Арины Родионовны, но и трагедию Мазепы и драму Петра».

С одной стороны, Шаламов задумывается об этом загадочном «третьем», под напором которого рождаются стихи, о его таинственном, прекрасном, глубоком и живом источнике. Здесь он делает шаг навстречу мистическому. С другой стороны, он, как человек позитивистского склада мышления, пристально вглядывается в законы поэзии, и его наблюдения и выводы могли бы сделать честь любому профессиональному стиховеду.

Многие свои эссе Шаламов посвящает именно размышлениям о поэзии, о ее природе и законах, о психологии творчества и произведениях близких ему поэтов. В них мы находим не только наблюдения над собственным творческим процессом, но и результаты работы, которую вполне правомерно назвать исследованием классической поэзии и ее поэтики.

В.Шаламов считал предрассудком мнение, что творец не должен профессионально разбираться в технике творчества, в тайнах своего ремесла. Профессионализм для автора «Колымских рассказов» — слово отнюдь не бранное. Он неотъемлем от общей культуры, от обширной образованности, без которых немыслим для Шаламова большой поэт. Отвергая упреки в книжности, адресованные Мандельштаму, он говорит о «щите культуры, пушкинском щите», необходимом поэту помимо таланта и судьбы.

Да, для Шаламова самое важное в поэзии, как и в прозе, впрочем, — «израненное сердце, живая человеческая судьба, кровавые раны души». Но не менее существенна для него и культура поэта, его приобщенность к мировой поэзии и профессиональное владение тайнами ремесла. Не случайно Шаламов так много внимания уделяет в своей эссеистике вроде бы чисто «технологическим» вопросам стихосложения. Он пишет об интонации как «паспорте» любого настоящего поэта, его «визитной карточке», о рифме как «поисковом магните поэтического мира», о звуковом каркасе стихотворения, «так как звуковая магия есть основа русского стихосложения...».

В эссеистике Шаламова отчетливо видна широта его взгляда на поэзию, незашоренность этого взгляда. Он, например, высоко ценил как поэта А.Твардовского, но поэтический отдел возглавляемого им «Нового мира» считал неинтересным, так как в журнале отдавалось предпочтение главным образом некрасовской традиции. Для Шаламова это означало сознательное обеднение поэзии, отрицание всего XX века русской поэзии, давшего блестящие образцы мировой лирики.

Задачей огромной и первостепенной важности считал он возвращение читателю, и особенно поэтической молодежи, творчества прекрасных поэтов — В.Ходасевича, М.Цветаевой, М.Кузмина, А.Белого, О.Мандельштама и других. В своих эссе он обнаруживает превосходное знание поэзии первой трети нынешнего столетия, подлинное, любовное проникновение в красоту чужого поэтического мира.

Однако В.Шаламову близок не только эстетический, но и укорененный в российской традиции нравственный подход к поэзии. «Мы верим в стихи не только как в облагораживающее начало, не только как в приобщение к чему-то лучшему, высокому, — пишет он, — но и как в силу, которая дает нам волю для сопротивления злу».

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Шаламов стремился воспринимать жизнь открыто, и если заслонялся от ее ударов, то не метафизикой, а — поэзией. Творчеством. Жизнь для него была постоянным противоборством добра и зла, но не абстрактным, а воплощенным в конкретных людях, в их принципах, делах, понятиях, представлениях. В их человечности или не-человечности.

И люди появлялись на его пути. Не обязательно идеальные, со своими слабостями, недостатками, они тем не менее срывали «пла-

ны» шаламовской «судьбы», облегчали его участь, отсрочивали сроки. И тем самым, вероятно, не давали до конца угаснуть его вере в человека, может быть, самой трудной из вер.

Такими людьми стали для Шаламова уже упоминавшиеся Борис Лесняк, тоже зек, работавший фельдшером в больнице «Беличья» Северного горного управления, и Нина Савоева, главный врач той же больницы, которую больные называли Черной Мамой.

Здесь, в «Беличьей» оказался как доходяга в 1943 году и В.Шаламов. Его состояние, по свидетельству Савоевой, было плачевным. Как человеку крупного телосложения, ему приходилось всегда особенно трудно на более чем скудном лагерном пайке. И кто знает, были бы написаны «Колымские рассказы», не окажись их будущий автор в больничке Нины Владимировны.

Тогда, в середине 40-х, Савоева и Лесняк помогли мало-мальски пришедшему в себя Шаламову остаться при больнице культоргом, как помогли они и еще одному человеку, ныне хорошо известному автору документального повествования о лагерях «Крутой маршрут» — Евгении Гинзбург. Так уж знаменательно, едва ли не символически сошлось, что под крылом главврача больницы «Беличья» убереглись от смертельной колымской стужи двое из самых глубоких исследователей «опыта растления».

Шаламов оставался при больнице, пока там были его друзья. Но и после того, как они покинули ее и Шаламову вновь грозили каторжные работы, на которых он вряд ли бы выжил, в 1946 году знакомый врач Андрей Пантюхов избавил Шаламова от этапа и помог устроиться на курсы фельдшеров.

Судьбе было оказано сопротивление — как со стороны измученного, обессиленного заключенного, так и со стороны людей, волей все того же случая оказавшихся рядом и принявших в нем участие.

Вероятно, благодарным словом мог бы вспомнить Шаламов и других людей, особенно если перенестись в более близкие к нам годы — в конец 70-х — начало 80-х, о которых сам Шаламов уже не мог написать.

Последнее десятилетие жизни, особенно самые последние годы не были для писателя легкими и безоблачными. Шаламов старел. У него было органическое поражение центральной нервной системы, которое предопределяло нерегулятивную деятельность конечностей. У него было нарушение координации, что не раз становилось причиной задержания его на улице милицией: думали, что пьяный.

Ему было необходимо лечение — неврологическое, а отнюдь не психиатрическое. Однако именно психиатрия нависала над неугодным и неудобным автором крамольных рассказов о «постоянно сегодняшнем дне прошлого страха», как называл ГУЛАГ Г.Бёлль.

23 февраля 1972 года в «Литературной газете», там, где помещается международная информация, было опубликовано письмо Варлама Шаламова, в котором он протестовал против появления за рубежом его «Колымских рассказов».

Есть сведения, что у истоков этой шаламовской «акции» стоял Борис Полевой, в то время главный редактор «Юности», где чаще всего выступал со стихами Шаламов. Полевой хорошо к нему относился и вполне мог из лучших побуждений подвигнуть его написать такое письмо.

Но кондово-дежурные фразы вроде: «Я — честный советский писатель; инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности» — говорят о внутренней отстраненности автора от содержания этого письма.

Философ Ю.Шрейдер, который встретился с Шаламовым через несколько дней после появления письма, вспоминает, что сам писатель относился к этой публикации как к ловкому трюку: вроде как он хитро всех провел, обманул начальство и тем самым смог себя обезопасить. «Вы думаете, это так просто — выступить в газете?» — спрашивал он то ли действительно искренне, то ли проверяя впечатление собеседника.

Как бы там ни было, но это письмо было воспринято многими в интеллигентских кругах как отречение. И хотя в ту пору подобные письма-покаяния известных, уважаемых писателей время от времени появлялись на страницах периодики, не простили именно Шаламову: рушился образ несгибаемого автора ходивших в списках «Колымских рассказов».

Нет, Шаламов не боялся лишиться руководящего поста — такого у него никогда не было; не боялся лишиться доходов — обходился небольшой пенсией и нечастыми гонорарами. Но сказать, что ему нечего было терять, — не поворачивается язык.

Любому человеку всегда есть что терять, а Шаламову в 1972 году исполнилось шестьдесят пять. Он был больным, быстро стареющим человеком, у которого и так были беззаконно, людоедски отняты лучшие годы жизни.

Возможно, кто-то хотел бы видеть в нем мученика режима, видеть на нем терновый венец и нимб над головой, и чтобы он до

конца нес свой крест. А Шаламов хотел жить и творить — не в стол, но чтобы его стихи (хотя бы!) читались соотечественниками. Не завтра, не послезавтра, не тем более в некоем абстрактном будущем, а здесь и сейчас.

Он хотел, мечтал, чтобы его рассказы, оплаченные собственной кровью, болью, мукой, были напечатаны в родной стране, столько пережившей и выстрадавшей.

Вероятно и то, что писатель, все острее ощущавший приближение старости, не чувствовал себя спокойным и способным на конфронтацию с подавлявшим все живое и честное режимом. Его письмо было предложением перемирия.

Впрочем, кто теперь может сказать точно? Возможно, было и то, и другое, и третье... Но очевидно — лучше ему после письма не стало.

...В мае 1979 года Шаламов переехал в дом инвалидов и престарелых на улице Вилиса Лациса в Тушино.

Казенная пижама делала его очень похожим на арестанта. И действительно, судя по рассказам людей, навещавших его здесь, он снова ощутил себя узником. Воскресли забытые лагерные комплексы и навыки. Он демонстрировал свое узничество и в то же время по-настоящему воспринял дом инвалидов как тюрьму. Как насильственную изоляцию.

Он не хотел общаться с персоналом. Срывал с постели белье, спал на голом матрасе, перевязывал полотенце вокруг шеи, как если бы у него могли его украсть, скатывал одеяло и опирался на него рукой. А.Морозов записал сочиненное здесь же Шаламовым стихотворение: «Под душой — одеяло, кабинет мой рабочий...»

Все было почти классически лагерное — и полотенце вокруг шеи, и скатанное одеяло, и то, что прятал под матрас хлеб, что накапливал в карманах кусочки сахара...

Он жил как бы в двух временах, соединяя их в одно. И его облик, его образ — не престарелого и инвалида, а бритоголового, мосластого старого арестанта, не желающего двигаться с места, — был образом протеста. Молчаливого, но непреклонного.

Но безумным Шаламов не был, хотя и мог, наверно, произвести такое впечатление. Врач Д.Ф.Лавров, специалист-психиатр, вспоминает, что ехал в дом престарелых к Шаламову, к которому его пригласил навещавший писателя литературовед А.Морозов, в некотором напряжении. Осторожные люди предупредили его, что писатель — фигура одиозная, и он опасался, что от него могут потребовать доказательств психического здоровья там, где его нет.

Поразило же Лаврова не состояние Шаламова, а его положение — условия, в которых находился писатель. Что касается состояния, то были речевые, двигательные нарушения, тяжелое неврологическое заболевание, но слабоумия, которое одно могло дать повод для перемещения человека в интернат для психохроников, у Шаламова он не обнаружил.

В таком диагнозе его окончательно убедило то, что Шаламов — в его присутствии, прямо на глазах — продиктовал Морозову два своих новых стихотворения. Интеллект и память его были в сохранности.

Да, он еще сочинял стихи, запоминал — и потом А. Морозов и И. Сиротинская записывали за ним, в полном смысле снимали у него с губ. Это была нелегкая работа. Шаламов по нескольку раз повторял какое-нибудь слово, чтобы его правильно поняли, но в конце концов текст складывался.

Он попросил Морозова сделать из записанных стихотворений подборку, дал ей название «Неизвестный солдат» и выразил пожелание, чтобы ее отнести в журналы. Морозов ходил, предлагал. Безрезультатно.

Стихи были опубликованы за границей в «Вестнике русского христианского движения» с заметкой А. Морозова о положении Шаламова. Цель была одна — привлечь внимание общественности, помочь, найти выход. И эта цель в каком-то смысле была достигнута, но эффект... эффект был скорее обратный.

После этой публикации о Шаламове заговорили зарубежные «голоса». В результате к писателю стало приходить больше людей. Кто-то действительно хотел помочь и помогал, но бывали и просто любопытствующие.

Такое внимание к автору «Колымских рассказов», большой том которых вышел на русском языке в 1978 году в Лондоне, особенно в связи с близящимся 75-летием писателя, начинало кое-кого беспокоить. Шаламовскими посетителями стали интересоваться в соответствующем ведомстве. Из органов госбезопасности звонили директору дома престарелых, подробно расспрашивали, а однажды (или не однажды) наведались лично.

В начале сентября 1981 года собралась комиссия — решать вопрос, можно ли дальше содержать писателя в доме престарелых. После недолгого совещания в кабинете директора комиссия поднялась в комнату Шаламова. Присутствовавшая там Елена Хинкис рассказывает, что он на вопросы не отвечал — скорей всего просто игнорировал, как он это умел.

Но диагноз ему был поставлен — именно тот, которого опасались друзья Шаламова: старческая деменция. Иными словами — слабоумие.

По дому престарелых поползли слухи. Санитарка предупреждала: скоро увезут... Навещавшие Шаламова пытались подстраховаться: кое-кому из медперсонала были оставлены телефоны — в случае чего сразу звонить. Но время шло, все немного успокоились, хотелось думать, что опасность миновала.

Новый, 1982 год А.Морозов встретил в доме престарелых вместе с Шаламовым. Тогда же был сделан и последний снимок писателя.

Никто никому так и не позвонил.

Это произошло 14 января. Очевидцы рассказывали, что, когда Шаламова перевозили, был крик. Он пытался еще сопротивляться.

Выкатили в кресле, полуодетого погрузили в выстуженную машину и через всю заснеженную, морозную, январскую Москву — неблизкий путь лежал из Тушино в Медведково — отправили в интернат для психохроников № 32.

17 января 1982 года Варлама Шаламова не стало.

Гражданской панихиды в Союзе писателей, который отвернулся от Шаламова, было решено не устраивать, а отпеть его, как сына священника, по православному обряду в церкви. С местом на кладбище все-таки помог Союз — самое существенное, что он смог сделать для своего, теперь уже бывшего члена...

Похоронили писателя на Кунцевском кладбище, недалеко от могилы Надежды Мандельштам, в доме которой он часто бывал в 60-е годы. Пришедших проститься было неожиданно много.

И стояли поодаль черные «Волги»: смерть ведь тоже обладает взрывоопасной силой, тут тоже нужна бдительность... А в катафалке между кабиной и салоном, словно в насмешку, была прилеплена фотография Сталина.

В том злосчастном письме 1972 года в «Литературную газету» Шаламов уступчиво написал, что «проблематика "Колымских рассказов" давно снята жизнью...»

Трагический конец писателя опроверг это утверждение, лишний раз удостоверив, что страшное не кануло бесповоротно в прошлое. Но он подтвердил другую его мысль, приведенную в самом начале этой работы, — что дело не в формах, не только в них, но и — в понятиях! В наших представлениях о добре и зле.

Жизнь дописала последний рассказ Варлама Шаламова, сама став трагическим документом.

СОДЕРЖАНИЕ

Научно-популярное издание

Шкловский Евгений Александрович

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Гл.отраслевой редактор *В.П.Демьянов*
Редактор *Н.М.Краснопольская*
Мл.редактор *О.В.Столярова*
Худож.редактор *М.А.Гусева*
Техн.редактор *Т.В.Луговская*
Корректор *Н.К.Пехтерева*

ИБ № 11757

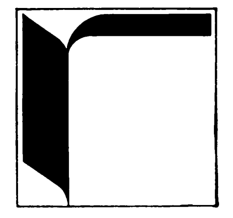
Сдано в набор 13.06.91. Подписано к печати 29.08.91.Формат бумаги 70x108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл.печ.л. 2,80. Усл.кр.-отт. 2,98.Уч.-изд.л. 3,64. Тираж 32934 экз. Заказ 852. Цена 30 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д.4. Индекс заказа 917009. Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» в типографии Всесоюзного общества «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д.3/4.

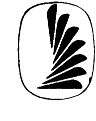
30 коп. Индекс 70069

Дорогой читатель!

Брошюры этой серии в розничную продажу не поступают, поэтому своевременно оформляйте подписку.
Подписка на брошюры издательства «Знание» ежеквартальная, принимается в любом отделении «Союзпечати».
Напоминаем Вам, что сведения о подписке Вы можете найти в каталоге «Всесоюзные газеты и журналы» в разделе «Подписные серии издательства «Знание».

ЗНАНИЕ





Издательство «Знание»

Наш адрес:
101835,
Москва, Центр,
проезд Серова, 4